ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

№ 41 ОКТЯБРЬ 1988



БОРИСОВ-МУСАТОВ: ФИЛОСОФИЯ ВРЕМЕНИ

В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ВЗОРВАННАЯ СОВЕСТЬ



МОРЕ, ВЕРНИСЬ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

30 сентября 1988 года состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС.

В свете решений XIX Всесоюзной партийной конференции Пленум рассмотрел предложения Политбюро, связанные с реорганизацией партийного аппарата, и некоторые кадровые вопросы. На Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.

Тов. Горбачев М. С. сообщил, что А. А. Громыко обратился в ЦК КПСС с просьбой о переходе на пенсию. М. С. Горбачев отметил большие заслуги А. А. Громыко перед Коммунистической партией и Советским государством и высказал ему добрые пожелания. (Выступления М. С. Горбачева и А. А. Громыко опубликованы в печати).

Пленум удовлетворил просьбу А. А. Громыко и освободил его от обязанностей члена Политбюро ЦК КПСС.

Пленум принял решение о комиссиях ЦК КПСС по основным направлениям внутренней и внешней политики. (Постановление по этому вопросу опубликовано в печати).

Пленум избрал секретаря ЦК КПСС В. А. Медведева членом Политбюро ЦК КПСС.

Пленум избрал члена Политбюро ЦК КПСС В. М. Чебрикова секретарем ЦК КПСС.

Пленум избрал А. В. Власова кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум избрал А. П. Бирюкову и А. И. Лукьянова кандидатами в члены Политбюро ЦК КПСС, освободив их от обязанностей секретарей ЦК КПСС.

Пленум освободил М. С. Соломенцева от обязанностей члена Политбюро ЦК КПСС и председателя Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию.

Пленум освободил В. И. Долгих от обязанностей кандидата в члены Политбюро и секретаря ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию.

Пленум освободил П. Н. Демичева от обязанностей кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию.

Пленум освободил А. Ф. Добрынина от обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию.

Пленум утвердил Б. К. Пуго председателем Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС МЕДВЕДЕВ Вадим Андреевич



Родился 29 марта 1929 года в деревне Мохоньково Даниловского района Ярославской области, русский.

В 1951 году окончил Ленинградский государственный университет. Работал ассистентом, а затем старшим преподавателем этого университета. Член КПСС с 1952 года. С 1956 года доцент Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, с 1961 года — заведующий кафедрой политэкономии Ленинградского технологического института имени Ленсовета.

В 1968 году был избран секретарем Ленинградского горкома партии. С 1970 по 1978 год работал заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1978—1983 годах — ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1983 году утвержден заведующим Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС.

На XXV и XXVI съездах партии избирался членом Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, на XXVII съезде — членом Центрального Комитета КПСС. На мартовском (1986 г.) Пленуме Центрального Комитета партии избран секретарем ЦК КПСС. Одновременно он является заведующим Отделом ЦК КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР.

Член-корреспондент Академии наук СССР. Автор ряда трудов по политической экономии социализма.



Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА и А. ГОСТЕВА

ВНЕОЧЕР... ВЕРХОВН...

1 октября в Большом Кремлевском дворце состоялась внеочередная сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва. Она открылась совместным заседанием Совета Союза и Совета Национальностей.

Аплодисментами присутствующие встретили товарищей **Горбачева М. С., Воротникова В. И., Зайкова Л. Н., Лигачева Е. К., Медведева В. А., Никонова В. П., Рыжкова Н. И., Слюнькова Н. Н., Чебрикова В. М., Шеварднадзе Э. А., Щербицкого В. В., Яковлева А. Н., Бирюкову А. П., Власова А. В., Лукьянова А. И., Маслюкова Ю. Д., Разумовского Г. П., Соловьева Ю. Ф., Талызина Н. В., Язова Д. Т., Бакланова О. Д.**



Москва, Кремль. В зале заседаний Верховного Совета СССР в Большом Кремлевском дворце.

...ЕДНАЯ СЕССИЯ ...ОГО СОВЕТА СССР

Заседание вел Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР **Ю. Н. Христораднов.**

В повестке дня сессии — следующие вопросы:

О Председателе Президиума Верховного Совета СССР.

О первом заместителе Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

О внесении изменений в состав Совета Министров СССР.

По предложению состоявшегося 30 сентября Пленума ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Советов Старейшин обеих палат депутаты приняли постановление удовлетворить просьбу А. А. Громыко об освобождении его от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР в связи с уходом на пенсию.

Единогласно принято постановление Верховного Совета СССР об избрании депутата Горбачева Михаила Сергеевича Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Это решение депутаты сопровождают продолжительными аплодисментами.

На сессии выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР **М. С. Горбачев.**

Внеочередная сессия Верховного Совета СССР закончила работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета СССР
об избрании тов. Горбачева М. С. Председателем Президиума Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик **постановляет:**

избрать тов. **Горбачева** Михаила Сергеевича Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР
А. ЛУКЬЯНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.

Москва, Кремль. 1 октября 1988 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 41 (3194)

8 — 15 ОКТЯБРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Высохшее дно Арала стало кладбищем кораблей. (См. в номере материал «Миражи Арала».)
Фото Юрия ЛУШИНА

Оформление А. А. КОВАЛЕВА
при участии Т. А. НОВРУЗОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА
Цена подписки на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (международный)
(095) 943-00-70
Телетайп (внутрисоюзный) 112349
«Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 19.09.88. Подписано к печати 03.10.88. А 11789. Формат 70 × 108⅛. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 770 000 экз. Заказ № 3058.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

СТЕН

Анатолий ГОЛОВКОВ
Сергей ПЕТРУХИН (фото)



НИКАКОМУ АДМИНИСТРАТОРУ, ЯСНО ПОНИМАЮЩЕМУ ПОЛЬЗУ ПРЕДПРИНИМАЕМОЙ МЕРЫ, НИКОГДА НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТОБ ЭТА ПОЛЬЗА МОГЛА БЫТЬ ДЛЯ КОГО-НИБУДЬ НЕЯСНОЮ СОМНИТЕЛЬНОЮ.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

1

На Владимира Богданова весть об увольнении обрушилась неожиданно.

Его не было на заводе 3 часа 15 минут. Дирекция знала, что в это время он защищал в Верховном суде Латвийской ССР товарища по «Энергоавтоматике», тоже рабочего. с которым еще раньше обошлись несправедливо. В суд Богданова вызвали повесткой. начальство он предупредил и поэтому чувствовал себя в безопасности. Но с 16 июля 1985 года его обрекли на мытарства: безупречный стаж оказался прерван; никакой компенсации не выплатили и формулировку в трудовой книжке не изменили. Так и осталось в личном деле клеймо: статья 33 КЗоТ Латвийской ССР. пункт четвертый.

Между прочим. к моменту изгнания Богданова с завода прогулы на «Энергоавтоматике» перевалили за сотню человеко-дней. И ничего! Как говаривают в армии, виноват не тот, кто в самоволки бегает. а тот, кто попадается. Богданов же не просто «попался». Со своими вечными придирками. со своей критикой он был уже вот где!..

Другие помалкивали себе да работали. А этот? То он расценками новыми недоволен, то переводом в другую бригаду без объяснений, то письма в прокуратуру шлет, видите ли, «о преступной деятельности администрации завода...». Другому только пригрози, что из первых в очереди на квартиру окажется в хвосте, только намекни насчет премиальных — тут же он у тебя в кулаке. А Богданову все нипочем: ни выговоры, ни угрозы, ни увольнения... Было ведь уже, было, пробовали избавиться от него в марте восемьдесят четвертого по сокращению штатов. Полгода наслаждались тишиной и благолепием. Однако пришлось вернуть Богданова на «Энергоавтоматику» в прежнем качестве. А уж на следующий год чаша терпения администрации переполнилась.

И хотя не пожелали признать правоту Богданова относительно беспорядков на заводе, не прошло и двух лет, как директора Федотова рабочие провалили на выборах. Ушел Федотов «по собственному» и, говорят, неплохо устроился — не внакладе остался. А Богданова не восстанавливают, считая увольнение законным. Ссылаются при этом на решение Верховного суда республики, на заключение Прокуратуры Союза. Хотя есть и другие мнения. В пользу Владимира Богданова высказываются доктора юридических наук — профессор В. Никитинский, ведущий специалист Института государства и права АН СССР Р. Лившиц... Еще в прошлом году с просьбой рассмотреть вопрос об опротестовании судебных постановлений по делу В. Богданова обратился к председателю Верховного суда Латвийской ССР юридический отдел ВЦСПС... Тщетно!

Богданову по-прежнему твердят: перестань писать и жаловаться, прими факт своего увольнения де-юре, с другими, мол, еще и не такое бывало. А он, упрямец, не соглашается.

2

В Риге, городе его и моей юности, мы заглянули с Богдановым в кафе на набережной. Даугава по-прежнему несла под мост желтые воды, под столиком гуляли голуби. Володя смотрел чуть насмешливо, склонив голову набок, как человек, которому незачем и нечего скрывать — ни судьбы, ни вины, ни боли...

Из «Огонька», по его душу? Так ведь писали уже! Первой — газета «Социалистическая индустрия». Но, пожалуй, самый большой резонанс получил очерк в «Комсомольской правде» Инны Руденко «Противостояние» (1.03.1987). О Богданове узнали тысячи людей; материально, а главное, морально поддержали. Но что потом пришлось испытать и герою, и автору, и редакции! Бог весть какое началось давление...

Я всматривался в Богданова, шел по старым его тропам, разговаривал с друзьями и недругами. Казалось, наши дороги должны были бы пересечься. Пытался вспомнить, не встречал ли я его уже где-нибудь на рижских перекрестках; но нет, не видались мы раньше, не были знакомы.

Володе сейчас сорок два года. Отца не помнит. Детдомовец. Работать начал с шестнадцати лет. Получил профессию газоэлектросварщика, имеет шестой разряд. Обычно нарасхват такие.

И никакой за ним героики, никакого пафоса. Жил, как все, думал о Тамаре и троих детях, ютившихся в общежитии («еще семь холостяков за занавесками»), а потом в комнатке «восемнадцать квадратов» — тринадцать лет коммунальных мучений. Рядом жили другие рабочие электромашиностроительного завода, кто получше, а кто и похуже Богдановых; работали, бегали по магазинам, пили пиво, мечтали об отпуске, о будущей квартире. И все ждали, ждали чего-то, надеялись на лучшую жизнь. Ходили в кино, а также в гости «на телевизор». Телевизор казал во всю могучую диагональ экрана фигуру Брежнева, усыпанного звездами и звезды раздающего, плачущего с пионерами в «Артеке». Посмеивались над слабостями престарелого руководителя, но без презрения и злобы — с пониманием. И нередко писали на его имя просительные письма: «Глубокоуважаемый Леонид Ильич...»

Еще на РЭЗе Богданов видел преуспевших приспособленцев, но принимал этих людей как данность и не думал ни о каких переменах. Учиться хотелось, и он заочно окончил школу, юридический факультет университета: будто предвидел — защищать себя и других можно, лишь зная законы. Газеты лгали наперебой, политика его не волновала, слова «застой», «стагнация» еще не вошли в обиход, за них могли бы и привлечь...

Когда же на заводе предложили ему в партию вступить — это было в семьдесят четвертом,— не отказался, написал заявление: «Хочу быть в первых рядах...». Но не ради карьеры или престижа, просто не хотелось, чтобы думали в цехе, что человек он вовсе безыдейный. Взносы платил исправно, на собраниях почти всегда сидел молча, слушая монотонные, скучные речи. Соглашался, как все, с заранее продиктованными резолюциями — другого и не требовали.

Чувство протеста, еще не вполне осознанного, зрело в нем еще на РЭЗе, когда стали всем понижать разряды. А вот на опытном заводе «Энергоавтоматика», куда он перешел более всего из-за квартиры, стало заметнее, что изученные им на юрфаке законы явно противоречат действительности. Богданов будто бы обрел иное зрение, увидел, как обходится начальство с рабочими, как закрывают наряды бригадам, как те гонят брак и штурмуют план; что профсоюзы защищают не столько рабочих, сколько администрацию. Так началось его «противостояние».

Познал он тяжкое бремя своей борьбы, когда столкнулся с реальной властью людей, не желающих ничего менять, готовых убрать с дороги всякого, кто посягает на их авторитет. Но ему открылось и иное — высокое чувство освобождения от навязанной социальной роли, в которой и сегодня хотели бы видеть подчиненных бюрократы: лучше разгильдяйство, даже пьянство, но под гнетом уважения-страха, чем честный рабочий контроль, чем самоуправление.

Ни один суд — а их было несколько — не решил дело в пользу Богданова. Ни одно учреждение, куда писал он в надежде на помощь, не откликнулось ничем, кроме отписок. Невеселое это чтиво отняло у меня несколько вечеров. Перебирал бланки, чем-то похожие один на другой, размышляя о Володином долготерпении. О том, как удается семье его сводить концы с концами: Тамара получает сто семьдесят, ну помогают иногда продуктами родственники из деревни... Трудно Богдановым.

3

Сегодня противники неприязни к нему отнюдь не скрывают. Стена возведена. Высказывается готовность к длительной осаде. Их вера в праведность решений безгранична, позиции, похоже, непоколебимы. Их голоса, записанные на диктофон, заставляют вспомнить о трогательном обаянии усталых лиц, неторопливых жестах и снисходительной усмешке при одном только упоминании этой фамилии — Богданов.

Заместитель председателя Верховного суда Латвийской ССР А. Н. Москвин (пленка): «Для меня нет смысла повторять все то, что я излагал уже в ответах разным инстанциям. Дело Богданова рассматривали в Верховном суде, прокуратуре республики. Мнение единодушно. Некоторые корреспонденты называют нас иносказательно (?) врагами перестройки. Я, во всяком случае, отнес это к себе... Мы считаем, что закон есть закон. Может быть, человек действительно стремится к справедливости, установлению каких-то принципов, нужных нашему обществу? Тем не менее нужно соблюдать законность и в таких ситуациях. Конечно, вам это может показаться формальной придиркой к борцу за справедливость, многие это именно так воспринимают. Но мы должны руководствоваться принципом единства в судебной практике... А принципы Богданова не служат общему делу. Его борьба — это борьба больше за личное, чем за общественное».

Как-то трудно соотнести слова Алексея Николаевича с той ролью, которую добровольно (и абсолютно безвозмездно!) взвалил на себя Богданов: он теперь не только сварщик, но и юрист с высшим образованием. **Он работает!** Его занимает нынче не столько справедливость для себя самого, сколько защита чести и достоинства других людей, да еще по таким запутанным, явно невыгодным для адвокатов делам.

На трех судебных заседаниях Богданов представлял интересы И. В. Белецкого, бывшего моториста судна «Советская Латвия», который в плавании оказал сопротивление произволу начальства, пошел на конфликт, был списан на берег как «умалишенный» (по настоянию судового медика). Теперь Белецкого согласны выслушать лишь после «обследования в психиатрическом стационаре»...

Богданов бросился на помощь Н. С. Максимову, кузнецу трамвайно-троллейбусного управления (сейчас он работает на «Ригас мануфактура»), который, как народный контролер, счел своим долгом еще в «годы застоя» сообщить о производственных непорядках, но услышан не был. И хотя часть нарушений (это уже доказано) имела место, Максимову упорно твердят, что «факты не подтвердились»...

Богданов участвует в судьбе Л. Н. Яскевич, бывшего врача 15-й поликлиники г. Риги. Луиза Николаевна тоже критиковала начальство. Травили традиционно: провоцировали, объявляли выговор за выговором, а затем уволили. В приказе № 1 за 1986 год говорится, что Яскевич Л. Н. обвиняется, в частности, «в необеспечении врачебного наблюдения и неоказании медицинской помощи на дому больной Петровой А. С., закончившихся смертельным исходом...». Третий год Луиза Николаевна вынуждена не работать. Распродает потихоньку вещи из своей квартиры. Надеется, что удастся защитить честь, снять с себя тяжкое и никем не доказанное обвинение...

Он протягивает руку тем, кто отчаялся добиться правды и почти утратил веру в справедливость.

Уже не однажды и многим хотелось замять историю с Богдановым, но после газетных публикаций о нем узнали. Ему пишут письма ветераны войны, учителя, моряки, военные, студенты, рабочие. Приходили и денежные переводы: только крепись, не отступай, не поддавайся! Ему верят, ему подставили плечо — можно ли теперь предать себя и других?

В Риге Сергей Егоренок и другие его друзья создали неформальный «Клуб социально активных людей» (КСАЛ) — в поддержку Владимира Богданова. «Зачем же Богданова? — возразил Володя.— Давайте лучше защищать других». Клуб действовал совместно с горкомом комсомола, пока занимался «безобидными» делами, как защита учительницы из 51-й школы П. П. Клейменовой и ученицы Тани Гусаровой (Клейменову успешно выживал педагогический коллектив). А вот когда вмешался в дело бывшего майора милиции Б. С. Краснова, который бросил вызов начальству из МВД республики, КСАЛу стали намекать, чтоб не лез не в свои дела... На этом фоне «дело Богданова» стало ощутимо обретать политическую окраску. К старым ярлыкам — «сутяга», «тунеядец» и т. д. добавились новые — «диссидент», «неформал».

4

Каюсь, грешен и я, тоже не избежал искушения поговорить с лидерами неформальных групп, «завязал контакты». Хотелось не только со слов лиц, облеченных официальной властью, разобраться, понять, какую роль играют неформалы в сегодняшней Латвии. И увидел их за одним столом Совета Общественных клубов — и «зеленых» из Клуба защиты среды, и активистов КСАЛа, и ребят из «Хельсинки-86», а рядышком — работников ЦК ЛКСМ Латвии. А заняты эти люди были не чем иным, как обсуждением того, что надо бы сделать в поддержку перестройки. Я видел живые глаза живых людей. Запомнилось, как в мгновение ока собрали они деньги, гонорар для адвоката, защищающего в суде человека...

И латыши, и те, кто говорит в республике на русском языке,— они сумели сегодня объединиться. Их общая «программа-минимум» — предотвратить в Латвии «второй Сумгаит», возможные вспышки экстремизма. Устранить попытки разжечь межнациональную вражду. Владимир Богданов со своими товарищами сегодня там, где нужно убедить людей, которые сосредоточились на национальных вопросах, что перед населением республики стоят и другие, не менее острые социальные, экономические, экологические, политические проблемы, которыми нужно заниматься всем миром. Иначе перестройка будет провалена.

И не только их, неформалов, вина в том, что не получается пока искреннего диалога с властями. Сильна еще инерция, неизбывна привычка противопоставлять нетрадиционному мнению взамен четко отработанной концепции окрики и достославную статью 183 «прим», соответствующую российской 190 «прим» (по которой, кажется, в РСФСР давно уж никого не судят!) — распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Так понадежнее?

Такая административная негибкость способствует не столько консолидации для дела перестройки, сколько рождает взаимное недоверие. А оно, недоверие это, приносит неожиданные и горькие плоды...

5

Что же касается «авторитета Богданова» в рабочей среде...

Познакомился с Виктором Тягушевым, электромонтером из ленинградского научно-производственного объединения «Красная заря». Его, человека тоже «неудобного» администрации, не увольняли «по статье». Сам он уходил, врачи настаивали. Каждый конфликт стоил ему сердечных приступов...

В очередной раз администрация «Красной зари» забеспокоилась, узнав, что Тягушев собирает в цехе подписи в защиту «какого-то Богданова». Подписалось около двухсот рабочих. Когда же выяснили, что Богданов живет не в Ленинграде, а в Риге, успокоились. До поры. Откуда ей, администрации, было знать, что люди, чьи подписи оказались под письмом в Прокуратуру СССР, объединятся под эгидой комитета комсомола в клуб «Рабочая инициатива», а Виктор станет его председателем? Объявлена цель — помочь рабочим преодолеть синдром страха перед начальством, воспитывать их настоящими хозяевами производства, усилить их активность в движении за перестройку.

— Как только наша «Рабочая инициатива» заявила о себе, а я пару раз выступил по Ленинградскому телевидению, кто нас только не принимался искушать, заманивая на свою сторону! — вспоминает Тягушев.— Одними из первых явились посредники от общества «Память» и стали намекать на то, что нам, рабочим, особенно русским, нужно, дескать, поскорее влиться в их среду. Потому что лишь ей, «Памяти»,

доподлинно известно, кто виноват в заводских непорядках, а именно: сионисты и масоны! Однако посланцам черной сотни на сей раз не повезло — в «Рабочей инициативе» полный интернационал!.. Как-то вызвал меня к себе заместитель секретаря парткома объединения Морозов: вам вообще следовало бы работать бок о бок с партийной организацией, поскольку партия — авангард рабочего класса. «Николай Константинович,— сказал я ему,— очень бы этого хотелось, но члены КПСС в клуб не идут, парткома побаиваются...».

Не будь Владимира Богданова, не узнай о нем другие,— многие долго еще не ощутили бы своей силы, своего права быть хозяевами жизни. Не объединились бы многие голоса в письме на имя Генерального прокурора: «Мы, рабочие из пятнадцати городов Советского Союза, направляем Вам это письмо, потому что еще верим в советское правосудие, верим в то, что с помощью наших законов еще можно защитить интересы рабочего класса...» — сотни подписей!

Они-то верят — прокурорский надзор безмолвствует! Видно, есть причины. Есть?

6

И ученые, и публицисты, которые занимаются внутриполитическими проблемами перестройки, с тревогой подмечают: слишком большое число рабочих проявляет равнодушие к переменам, вся инициатива которых исходит исключительно сверху. А что может быть опаснее этой тенденции сегодня, на переломе, когда общество занято проведением в жизнь экономической реформы на фоне демократизации и гласности, при помощи рабочего самоуправления? Мне приходилось разговаривать с рабочими КамАЗа, ленинградских, московских, ярославских предприятий... Создается совет трудового коллектива, а во главе СТК директор завода... Выбирают начальника цеха, а «выборы» превращаются в обсуждение его партийной характеристики вместо тайного голосования при нескольких кандидатах, как это произошло в 110-м цехе «Красной зари»...

Вот чем оборачивается для рабочих «демократия». А им произносят пламенные речи с трибун разной высоты, развешивают лозунги (теперь иногда на голубых, а не только на кумачовых полотнищах) «Перестройка — дело каждого!». По-прежнему шумят и восклицают, готовые печься о некоем абстрактном «рабочем классе», с которым боятся расторгнуть единство, но брезгуют при этом подать руку помощи не целому классу, а вполне конкретному человеку, добивающемуся справедливости. Так повторяются старые ошибки.

Не могу не разделить и озабоченности знакомого поэта и журналиста Виктора Авотиньша, который на пленуме Союза писателей Латвии в июне обронил горькие слова: «Рабочего человека сравнительно легко можно купить квартирой, премией или в конце концов тем, что его оставят в покое... Власти требовался усредненный серый человек. И таким его производили и обеспечивали едой, минимальным развлечением и нестихающими надеждами улучшить жизнь».

Добрые люди, речь-то идет не столько о физическом, сколько о духовном давлении, при помощи которого на протяжении обозримой истории манипулировали сознанием человека. Превращали его в «социальный автомат», который, по разумению практиков вроде Жданова или теоретиков вроде Суслова, должен был иметь преимущественно обязанности: «отдать все силы на...», «в едином трудовом порыве претворить...», «воодушевленному решениями, повысить...». А взамен — лишь обещания наснет будущего Эльдорадо. Мы едва только осознали, какой глубокий урон нанесла стране экстенсивная экономика, едва подсчитали убытки в миллиардах, как оказались перед необходимостью осмыслить моральный ущерб обществу,— без этого уже не продвинуться ни на шаг!

Незабвенны те замечательные усилия, с которыми административно-бюрократическая система отторгала (и хотела бы отторгать!) людей знающих, толковых, компетентных, просто честных. Незабвенна роль, которую сыграла она во имя того, чтобы сберечь командные посты во всех сферах жизни при развале дела и нравственном упадке. На этом фоне создается впечатление, что кому-то выгодно (существует на сей счет некое молчаливое согласие) обвинять во всех грехах одного лишь Брежнева — каких только карикатур не нарисовали на покойника! — в «новом культе личности», а не тех, кто этот культ взлелеял и берег, как гарантию собственной безопасности. Тех, кто стоял за его спиной, громче всех развивая мысль о современной «диктатуре пролетариата», а после весенних событий 1985 года тихонько ушел с политической арены на покой персональных дач и пенсий. И если не был уличен в уголовщине, как Рашидов или Щелоков, не понес практически никакой ответственности за политические преступления.

С кого мы должны спросить за трагедию Худенко, за травлю Высоцкого и Любимова, за незаслуженную опалу и попытки морально уничтожить Сахарова? Кто ответит за спекуляцию на «комсомольском энтузиазме», когда тысячи добровольцев отправляли в тундру и болота, на нефть и газ, на возведение по сей день нерентабельного БАМа, молодежи, которая по многу лет ждет сколько-нибудь приличного человеческого жилья в бараках сибирского самостроя? За судьбы рабочих, расселенных в городах, где загазованность воздуха в десятки раз превышает санитарно допустимую норму, за детей-калек? За эшелоны водки, отправлявшиеся в промышленные районы взамен продуктов питания?

Кто ответит за попытки унизить некогда организованный, гордый, сознательный класс, истинную большевистскую опору, класс, перенесший на своих плечах несколько войн и разрух, тех, кому обязаны мы всем достоянием Отечества,— превратить его в размытую, непонятную даже ученым социальную группу? Потомки красногвардейцев Октября не имеют права выжидать, «чем закончится эта перестройка», проклиная очереди к винным прилавкам; нельзя допустить, чтобы поверившие было в реальность перемен поговаривали, что перемены эти — не для них, рабочих.

7

После одного отчаянного письма Богданов объявил голодовку. Шли дни. Он побледнел и осунулся. Ответа не было.

Читал он где-то, кажется, в одной из книг серии «Пламенные революционеры», что голод лучше переносить лежа. Вот и лежал, думал о своей жизни...

Отчего-то вспомнился рижский детприемник конца 50-х. Он как бы снова встретил себя, белобрысого, стриженного под нуль, в бытность почти тридцать лет назад... Однажды на уроке труда он выпилил лобзиком пистолет, но деревянное оружие отняли те, кто постарше его и посильнее. Он ринулся на обидчиков. Не помня себя стал бить, кусаться, царапаться. Рвал на ком-то одежду — насилу разняли... Спустя годы занялся боксом и добился успехов; но ринг пришлось ему покинуть; драчун и забияка из послевоенных рижских подворотен, он так и не сумел взять в толк, что перед ним не враг, а всего лишь «условный противник»; в первом же раунде он горячился, впадал в неистовство; хладнокровный же партнер тем временем расчетливо наносил ему удар за ударом...

Вспомнилась и душная Махачкала, куда занесло его в шестидесятых, домостроительный комбинат... Из общежития, где день-деньской не прекращалась гульба, он выписался по наивной неопытности. В отделе кадров сказали: «Ищи комнату с пропиской или увольняйся». Сдала ему угол, наконец, и прописала одна добрая женщина, вернувшаяся из лагерей, где волею Особого совещания провела полтора десятка лет, и Богданов от нее узнал, какой ценою заплатили ни в чем не виноватые люди за сталинскую «кадровую революцию». Тем временем Володю уволили, наверное, под горячую руку. И восемнадцатилетний Богданов впервые в жизни подал в суд — иск удовлетворили! «Уходи,— советовали рабочие постарше,— теперь-то тебя точно со свету сживут!» Он остался. Директор же ДСК, из бывших фронтовиков, усталый и задерганный, но, как оказалось, все же человек незлой, здоровался с Володей за руку, справлялся о делах, а провожая в армию, Богданову вручили подарок — музыкальный портсигар...

Добрые люди, если в ком-то из нас заложено чувство собственного достоинства, если кто-то не дал замучить птицу, собаку или кота, вступился за честь женщины, друга, а повзрослев, отважился бросить вызов сплоченным в круговой поруке властолюбцам,— это чувство, пусть даже дремлющее в нас, рано или поздно дает о себе знать.

...Богданов голодал чуть больше недели. Жена, зная упрямый его характер, побежала в Министерство юстиции республики узнать, каково же решение, но оказалось, что там ничего не знают о голодовке, поскольку не удосужились прочесть письмо... Богданова вызвали в ЦК Компартии Латвии, просили ситуацию не обострять, не превращать случай, пусть даже, как он считает, с незаконным увольнением в политическую акцию. Обещали разобраться, помочь. Богданов поверил, голодовку прекратил, но его «гаранты» слово не сдержали.

Осенью 1985 года на бюро Октябрьского райкома партии Риги Богданова «обязали трудоустроиться». Это условие было для него заведомо невыполнимо. Другого добивался он — восстановления именно на «Энергоавтоматике». Тогда весною будущего года его исключили из КПСС «за невыполнение уставных требований и решения бюро...». Может быть, так совпало, но с завода он был уволен перед днем рождения, а исключен из партии — накануне праздника, который ценит выше других,— Дня Победы: протокол № 11 датирован 8 мая 1986 г. Предложили сдать партбилет. Но Богданов и по сей день носит его в нагрудном кармане. Считает себя коммунистом.

8

История о том, как трехлетняя «забастовка в одиночку» Владимира Богданова, его упорство в борьбе за свои права, за честь и достоинство других людей вызвали к жизни, пробудили от политической дремы десятки, сотни рабочих в разных городах Союза, станет когда-нибудь хрестоматийной. По крайней мере так хотелось бы его друзьям и единомышленникам, которые верят и надеются, что подъем рабочей надежды на реальную перестройку заставит и других взяться за руки, чтобы противостоять чиновничьему произволу. Хотелось бы — Николаю Кречетову, электромонтеру Новокузнецкого алюминиевого завода, горняку из Первомайска Николаю Милютину и его товарищам, шахтерам Украинска,— всем тем, кто, узнав о борьбе своего далекого побратима в Риге, откликнулся, проявил рабочую солидарность.

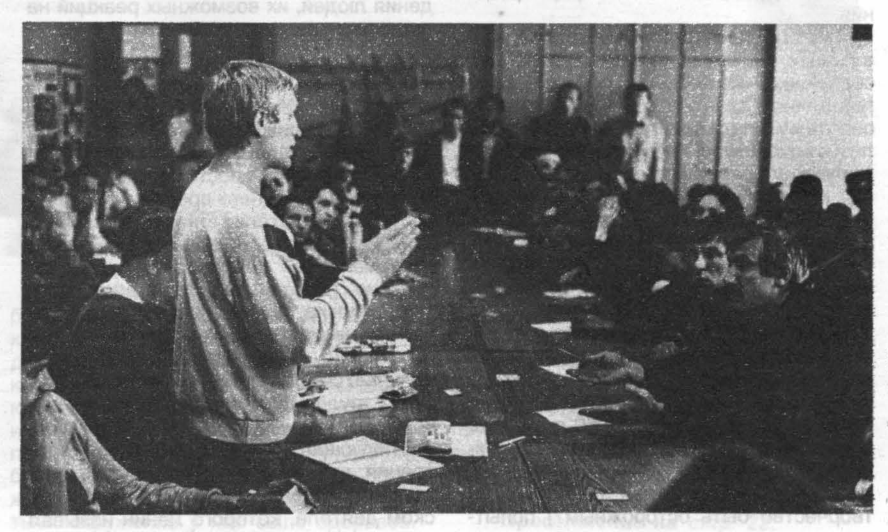
Многие из них собрались недавно за круглым столом, организованным редакцией журнала «Рабочий класс и современный мир». Вошли мы с фотокорреспондентом Сергеем Петрухиным в тесноватый зал и ахнули: знакомые все лица! Недавний наш герой, ленинградец Андрей Алексеев («...Мир погибнет, если я остановлюсь!», «Огонек» № 19 за 1988 г.), оживленно беседовал с Виктором Тягушевым и Владимиром Богдановым... Московские рабочие Владимир Якуничкин и делегат партконференции Юрий Сурков что-то обсуждали с ярославцем Львом Макаровым. Бульдозерист из Каунаса Казимирас Уока рассказывал ученым про литовское движение за перестройку... К ним прислушивались многочисленные гости из Костромы, Курска, Сочи, Симферополя... Шести часов, пока шла встреча, рабочим, многие из которых знали ранее друг друга лишь по переписке, оказалось мало, чтобы высказать даже все самое главное, с чем столкнулись они при организации самоуправления на местах.

И мы увидели новую, свежую, живую надежду. Уже родившуюся и крепнущую силу, готовую до конца отстаивать идеи перестройки! Подумалось: и этих людей кое-кому хотелось бы видеть в качестве униженных просителей? В качестве безликой серой массы? Пребывая в страхе и растерянности накануне политической реформы, одобренной XIX Всесоюзной партконференцией, бюрократы готовы пойти на все, чтобы удержаться у власти. И если нам не справиться с этой важнейшей реформой, им так и будет казаться, что они и есть олицетворение партии, а не Алексеев, Богданов, Тягушев... Помните, как закончил свое выступление на XIX Всесоюзной конференции КПСС нижнетагильский металлург В. Ярин: «Вот выступаю сейчас, а перед глазами глаза товарищей, стоящих у домен, мартенов, прокатных станов. Я хочу заверить Центральный Комитет партии: мы верим в необратимость перестройки, ибо убеждены, что, если перестройку возьмет в свои руки рабочий класс и крестьянство, мы сумеем быстрее реализовать намеченные цели».

...Добрые люди, оглядываясь на тающие искры былых манифестаций, на удушливое пустословие прошлых лет, спросим себя: хорошо ли слышны нам голоса ищущих справедливости? Активно вторгающихся в жизнь, чтобы изменить ее к лучшему...

Не слишком ли дорогой ценой мы заплатили за саму возможность перестройки, чтобы сегодня забыть о тех рядовых бойцах ее, что продолжают противостоять саботажу перемен и отнюдь не наивным попыткам вернуть старые времена?

РИГА — МОСКВА





С президентом Советской социологической ассоциации академиком Татьяной Ивановной ЗАСЛАВСКОЙ беседует обозреватель «Огонька» Валерий ВЫЖУТОВИЧ.

НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ?..

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФИКЦИЯ?

КОМУ СЛУЖИТ СОЦИОЛОГИЯ?

МОЖНО ЛИ ПРОГНОЗИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ?

КАКОВ НРАВСТВЕННЫЙ КОДЕКС ИССЛЕДОВАТЕЛЯ?

«ЕРЕТИКИ» И «ИНКВИЗИТОРЫ»

В. ВЫЖУТОВИЧ. Начнем, Татьяна Ивановна, с такого горького наблюдения: «...Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости, праву и истине...». Пушкин Александр Сергеевич. А сказано будто вчера. Двадцать лет застоя — эпоха «полного всенародного одобрения» и «глубокого удовлетворения». Эти чувства и настроения, якобы владевшие массами, выдавались за общественное мнение, печальным и комическим образом лишь подчеркивая отсутствие его. Вам придется признать: социологи приложили руку к созданию такого портрета современного общества, который льстил оригиналу с услужливостью придворного живописца.

Т. ЗАСЛАВСКАЯ. А журналисты писали только правду?

В. В. Не все, но многие, увы, тоже творили под диктовку «заказчика».

Т. З. Вот и социологи тоже не все. Вообще же говорить надо о состоянии не столько социологии, сколько обществознания в целом. История, философия, политэкономия, литературоведение находятся не в лучшем состоянии. Предельная идеологизация этих наук превратила ученых в обслуживающий персонал, работающий по принципу «чего изволите?». Политическая «ангажированность» науки нередко приводила к фальсификациям, искусственной подгонке исследований под заранее заданный ответ. В последнее время политическим руководством страны в адрес общественных наук высказано много горьких упреков. В большинстве своем они справедливы. Но, оценивая современную ситуацию, надо видеть ее причины и корни, механизмы формирования.

Судя по некоторым высказываниям в печати, главный спрос за бедственное состояние общественных наук надо предъявить занятым в них ученым. Это они сами впадали в догматизм, уступали конъюнктуре, предавались схоластическим рассуждениям, отрывались от действительности, проявляли робость мысли. Просто потому, что были плохими. Так ли это? Конечно, нет. Причины стагнации нашей философии или политэкономии следует искать не внутри, а за пределами этих наук. Каждое общество имеет ту науку, какую хочет и какую разрешает своим ученым развивать. Каково общество, таково и его обществоведение. В СССР еще сталинские чиновники 50—60 лет назад установили, какими должны быть философия, история, политэкономия, и всякая неосторожная (а может ли творчество быть осторожным?) попытка выйти из строго очерченного круга того, что можно, решительно пресекалась. Идеологические надсмотрщики преследовали «еретиков», требовали, чтобы те отреклись от своей научной веры. Те, кто не отрекался, погибали, их имена сейчас всем известны. Многие же из шедших за теми, первыми, не желая повторить их судьбу, каялись и отрекались. Поэтому спрашивать, откуда среди обществоведов сегодня столько карьеристов, приспособленцев и конъюнктурщиков, это своего рода ханжество. Эти «кадры» ковались десятилетиями. Социология же подвергалась особым гонениям.

В. В. Давайте уточним, когда это началось. Всякая наука проходит свое средневековье и свой Ренессанс. К примеру, в двадцатые годы социология была уважаемой дисциплиной.

Т. З. Не только в двадцатые, но и до революции, с конца XIX века. В развитии этой науки царская Россия не отставала от западных стран. Многие русские социологи были марксистами. Они давали объективную, неприукрашенную научную картину общества. Это именно их исследования легли в основу земской статистики, которой восхищался Ленин. Сам Владимир Ильич в первые годы Советской власти не уставал говорить о крайней важности конкретных социальных исследований для демократического управления. О том, что ни одно постановление партийных или советских органов, затрагивающее интересы разных социальных групп и слоев, не может и не должно приниматься без предварительного детального выяснения как объективной ситуации в данной области, так и мнений, настроений, жизненных ориентиров, мотивов поведения людей, их возможных реакций на подготавливаемые решения.

В те годы конкретные социальные исследования велись широко и целенаправленно. По мнению специалистов, наиболее крупным социологом того времени был Бухарин. К сожалению, убедиться в этом не просто, поскольку его труды до последнего времени были недоступны читателю, лично я с ними пока не знакома. А вот статью своего современника, анализирующего бухаринские работы по социологии, прочесть смогла, так как она была прислана мне на рецензию журналом «Социологические исследования». Интересно получается. Советский читатель еще не знает трудов Бухарина, не знаком с его конструктивными взглядами, а статья, критикующая его социологические воззрения, уже готова: «не понимал», «не хотел изучать»... И это — об историческом деятеле, которого Ленин называл крупнейшим теоретиком партии... Когда же мы, наконец, научимся элементарному уважению к чужим высказываниям, концепциям, образу мыслей? Без этого ведь не может быть науки!

Короче, была в стране очень серьезная теоретическая социология, но до наших времен не дожила.

В. В. Когда же начался ее разгром?

Т. З. Разумеется, в годы «великого перелома», ныне рассматриваемого рядом историков как контрреволюционный переворот Сталина против ленинской гвардии. Грянула насильственная коллективизация, началось кровавое раскулачивание, вместо изобилия наступил голод, и, понятно, потребность в объективном анализе социальной действительности у такой власти исчезла. Более того, возникла обратная потребность — в доказательстве несуществующего, провозглашении белого черным, и наоборот. Но с помощью конкретных социологических исследований выдать белое за черное практически невозможно. Ведь если экономическая наука опирается преимущественно на обобщенные статистические данные, подвергнутые предварительной обработке, то социологи обращаются со своими вопросами непосредственно к населению и при соблюдении методических требований становятся владельцами максимально правдивой, не искаженной ничьим посредничеством информации. Это очень опасная ситуация для властей. Правда, остается цензура, да и проведению исследований можно препятствовать — это мы испытали на себе...

Так или иначе, социология была одной из первых наук, ставших жертвами сталинского режима. Сколько я знаю, за все 30-е годы в стране была издана лишь одна социологическая книга — монографическое исследование одной из деревень Молдавской ССР, выполненное Котовым, Ариной и Лосевой. Надо сказать, что мне повезло. Когда я окончила экономический факультет университета и, не имея ни малейшего представления о существовании социологии, пришла работать в Институт экономики АН СССР, моим первым научным руководителем стал именно Григорий Григорьевич Котов, рядом со мной сидела Ксения Васильевна Лосева, а в гости к своим старым друзьям нередко наведывалась Арина.

Они-то и рассказали мне, как происходила ликвидация и экономической, и социологической наук. В 30-х годах в Академии наук СССР существовал то ли один институт аграрных проблем (точное название не помню), то ли даже два института аграрного профиля. И вот однажды, в 1934 или 1935 году, сотрудники, как обычно, пришли на работу, а войти в институт не смогли. На дверях было объявление о том, что в течение ближайших двух-трех дней институт будет закрыт на профилактику или срочный ремонт, и сотрудников просят работать дома. В назначенный срок двери оказались открыты, люди прошли к своим рабочим местам и обнаружили... пустые столы и шкафы. Все до последнего листка бумаги было изъято: собранная в экспедициях первичная информация, социологические анкеты, данные их разработки, находившиеся в работе отчеты, статьи, диссертации.

Не правда ли, сильная акция? Это ведь был целый научный институт, причем достаточно яркий и творческий. И так, в один миг он был раздавлен. А потом социология превратилась в «буржуазную» науку и была, как и все общественные науки, превращена в сферу схоластики, цитатничества и догматизма.

В. В. Однако вы пока говорили не о причинах «нищеты философии», а скорее о механизмах ее возникновения. Какие же социальные факторы способствовали остановке развития и застою обществознания?

Т. З. Прежде всего тоталитарный характер политической власти, жесткое подавление всех форм инакомыслия вне партии, недопущение разнообразия мнений внутри нее. Чудовищные преступления сталинского режима требовалось быстрее покрыть возможно более плотным слоем лака. Возникла настоятельная потребность руководства в извращении истории, а значит, закрытии исторических источников, экономической и социальной статистики. Развитие общественного самосознания народа превратилось в опасность для политической системы. В экономической сфере в этот период происходило отчуждение работника и от средств производства, и от результатов труда, сосредоточение хозяйственной власти в руках аппарата. Объективный анализ экономической действительности был опасен для административной системы не меньше, чем анализ политической жизни. Отсюда — сознательная дезинформация народа о происходивших процессах.

В этих условиях технократическое мышление все сильней вытесняло социально-экономическое. Искажалась система общественных ценностей. Понятия добра, справедливости, равенства заменялись темпами экономического роста, процентами выполнения плана, тоннами добытой руды. Люди все чаще представлялись в качестве послушных

и трудноразличимых «винтиков» великой Системы. Отступив от важнейших ценностей и принципов, обществознание потеряло право называться наукой. Оно стало служителем культа.

НАУКА БЕЗ НАЗВАНИЯ

В. В. Каковы же были способы торможения и развития общественных наук, в частности социологии?

Т. З. Почему были? Они все еще есть, не случайно в партийных документах последнего времени звучит тревога по этому поводу. Механизмы торможения общественных наук, сложившиеся в годы сталинизма и брежневщины, известны. Это строгий идеологический контроль за содержанием исследований, безусловное подчинение науки политике, преследование всего нового и творческого, запрещение свободных дискуссий. Это откровенное поощрение научного конформизма и беспринципности, подкуп и развращение ученых путем оплаты верноподданничества, выдвижение лакировщиков, массовое уничтожение творческих кадров. Добавьте сюда последовательное «закрытие» все новых и новых социальных проблем для обсуждения в печати, систематическое ужесточение цензуры, фактическую невозможность никаких публикаций нетрадиционных результатов, бюрократизацию системы планирования науки и контроля за выполнением планов, отделение советского обществознания от мирового научного процесса как формально-бюрократическим «железным занавесом», так и «идеологическими шорами», представляющими всех зарубежных ученых общественного профиля как «лакеев буржуазии». Я уж не говорю об отставании научно-технической базы обществоведения, нищенской оплате труда его кадров.

В конце пятидесятых, после XX съезда партии, социология стала возрождаться под прикрытием экономической и философской наук. Но само слово «социология» все еще изгонялось из научного словаря, его опасно было произносить или печатать. Помню, в феврале шестьдесят шестого в Ленинграде была созвана первая Всесоюзная конференция по проблемам социологии. Я в ту пору изучала миграцию сельского населения, но рассматривала свое исследование как чисто экономическое и социологом себя не считала. Тем не менее меня пригласили, и я решила поехать, так как о социологии говорили уже очень много, интересно было увидеть «боевой смотр» ее сил. Программа заранее разослана не была. Приехали, спрашиваем программу, говорят, напечатана, вот-вот будут раздавать. Но не тут-то было. Оргкомитет что-то шепчется, нервничает, наконец, нам заявляют: «Программа не напечатана, будет готова лишь завтра утром». Оказалось, что в течение ночи накануне конференции программа была перепечатана, так как по указанию начальства пришлось изменить само название конференции. Слова «по проблемам социологии» были заменены словами: «по конкретным социальным исследованиям». Слишком странно было проводить конференцию по проблемам «буржуазной» науки.

Пережитки такого отношения проявляются кое в чем и сейчас. Например, в Академии наук СССР принято называть институты именем соответствующих наук — философии, истории, этнографии, экономики, физической химии и т. д. Первый же и пока единственный институт социологического профиля был назван институтом конкретных социологических исследований, а затем просто социологических исследований. И лишь в связи с постановлением ЦК КПСС «О повышении роли марксистско-ленинской социологии в решении узловых социальных проблем советского общества», которое опубликовано 12 июня 1988 года, ему присвоено, наконец, имя «Институт социологии». А журнал и сейчас называется «Социологические исследования», хотя традиция академии иная. Ее журналы, как правило, называются «Вопросами» той или иной науки («Вопросы экономики», «Вопросы истории» и т. д.).

В. В. А почему одна из сильнейших социологических школ возникла и сумела выжить именно в Сибири?

Т. З. Прежде всего потому, что Сибирь далеко от Москвы — три тысячи километров. Во-вторых, Академгородок, где работал наш коллектив, далековат и от Новосибирска — тридцать километров, не каждый день поездишь, не на каждом собрании или семинаре поприсутствуешь. Значит, немного больше свободы хотя бы устных обсуждений. А без них какая наука? В-третьих, окружение у нас было здоровое. Двадцать два института: физики, химики, математики... Надо сказать, академик Лаврентьев, глава сибирской науки, просто терпеть не мог философов, ненавидел и презирал их за то, что своими идеологическими придирками погубили немало наук и задержали развитие многих. Сначала даже заявил: «Чтоб ноги их не было в Академгородке!» С большим трудом уломали его, когда выяснилось, что физикам и математикам некому сдавать кандидатский минимум по философии. Тогда только согласился. Но требовал, чтобы самые близкие его люди ручались в том, что приглашаемый в СО АН СССР философ — честный ученый и порядочный человек. Очень жесткая шла селекция. Частично поэтому Академгородок дольше других научных центров сохранял творческое свободомыслие в обществознании.

В. В. А вот ленинградцам не повезло...

Т. З. Да, через несколько лет после того, как во главе Института социально-экономических проблем стал профессор Сигов, ленинградская социологическая школа была разгромлена. История, увы, не уникальная. Новый директор, «чистый» экономист, никогда не занимавшийся социологией, сразу же «невзлюбил» эту науку, может быть, именно потому, что ею занимались люди творческие и одаренные. Такие талантливые всесоюзно известные ученые, как доктор философских наук Ядов (ныне директор-организатор ин-



Продолжение на стр. 22.



ВИКТОР ЭЛЬПИДИФОРОВИЧ БОРИСОВ-МУСАТОВ



1870—1905

Один из своеобразных парадоксов, связанных с искусством Виктора Борисова-Мусатова, заключается в том, что у него были последователи, но отсутствовали предшественники и союзники. Конечно, художник знал немало увлечений, причем в широком диапазоне — от «старых» классиков (Боттичелли, Веронезе, Тинторетто) до мастеров новых школ (импрессионисты, Пюви де Шаванн, Пьер Боннар, Эдуард Вюйяр, Морис Дени; из русских мастеров XIX века он высоко ценил В. Поленова и Н. Ге, а самую серьезную школу в годы ученичества прошел у П. Чистякова). Но при всем том, если брать творчество Борисова-Мусатова в целом, он никому не подражал и никого не продолжал. Одинокий, ни на кого не похожий, он поистине «вырос из воздуха времени». Как, например, М. Врубель в живописи или А. Голубкина в скульптуре, если говорить о его современниках.

Правда, с позиций большой исторической дистанции становится очевидным, что и одиночество, и странная непохожесть некоторых выдающихся мастеров тех лет по-своему закономерны и в известном плане сильнее, чем что-либо иное, выражают глубинные тенденции духовной жизни времени. Необычность оказывается формой новизны, ликом истины. Эпоха напряженно предчувствовала великие перемены в недалеком будущем, мечтала о торжестве справедливости, свободы, красоты. Все это виделось как захватывающее душу, но загадочное откровение. У Врубеля оно обретало надмирный полет и грозно-драматические интонации, у Голубкиной порождало тончайшую лирику отзывчивого человеческого взаимопонимания, у Борисова-Мусатова...

А что в самом деле принес с собой этот удивительный, почти никем не понятый при жизни романтик, который за несколько быстро промелькнувших лет создал свой особый и вроде бы столь далекий от реальности образный мир? Максимилиан Волошин говорил о «поэзии некрасивого», Петров-Водкин отмечал у Борисова-Мусатова «мягкую женственность», а крупнейший критик Я. Тугендхольд — «сочетание русского мирочувствия с внешними достижениями Запада». Были и другие определения, очень интересные и меткие, но настолько разнородные, что становится понятным: искусство Борисова-Мусатова сложное, ускользающее. Одно очевидно: этот всю жизнь нуждавшийся сын мелкого служащего, обделенный судьбой горбун оставил русскому искусству поистине драгоценное наследие, пленяющее своим несравненным поэтическим своеобразием.

Бывают художники, которые обладают четкой, детально разработанной творческой программой и пишут или лепят свои произведения словно бы по заранее сделанным проектам. Но бывают и мастера, подчиненные власти своего «внутреннего голоса». Они прислушиваются к нему так чутко и беззаветно, что результаты работы порой оказываются неожиданными и непредвиденными для самих авторов.

Борисов-Мусатов, бесспорно, был художником второго рода. Он всегда находился во власти артистической импровизации. За исключением самых ранних работ, он никогда не ограничивался одним лишь воспроизведением или даже свободной вариацией натуры. Художник постоянно стремился к глубокому преображению, которое и самому простому мотиву придавало особый смысл; возникало нечто далеко отходящее от реальности или, точнее сказать, переводящее ее в новый эмоционально-психологический регистр.

Вот «Агава» (1897). Вроде бы показан простой цветок в горшке. Но он резко вынесен на первый план, дан в огромном масштабе, похож на некое существо со сложным, мятущимся характером. Горшок без всякого житейского оправдания установлен то ли на берегу реки, то ли в неопределенной цветовой среде. Отблески солнца ложатся на лопасти листьев, на все окружающее. Так складывается образ цветения жизни, однако же неясного, таинственного, томящего душу. Художник начал с непосредственных наблюдений, но перенес их в какой-то условный, *иной* (по отношению к обычному) мир.

В «Агаве» очевидны отзвуки недолгого увлечения Борисова-Мусатова импрессионизмом: изображение пронизано трепещущим светом, форма строится дробным, вибрирующим мазком. Столь близкие к непосредственному видению приемы входят в известные противоречия с общей условностью композиции. Впоследствии мастер полностью отойдет от такой манеры.

Однако же у Борисова-Мусатова никогда не встречается фантастика в чистом и беспримесном виде. Он обязательно начинает с натуры, но проецирует ее в мир воображения. Поначалу такой прием приводил к некоторой двойственности. В «Автопортрете с сестрой» художник самого себя изобразил с острой исповедальностью: его сутулая фигура полна напряжения, лицо хмуро и иронично. Но сестра, одетая в широкое, по старинной моде сшитое белое платье, с розой в волосах, погруженная в лирическую задумчивость, принадлежит идиллическому, мечтательному миру. Таков и пейзаж на втором плане с его мягкими очертаниями и тающими красками. Белые, розовые, зеленые, фиолетовые тона картины создают ощущение покоя и тихой грусти. Импрессионистическая острота мазков сменилась плавными, медленными цветовыми переходами. И время тут как бы замерло — оно не мчится с лихорадочной поспешностью (как в «Агаве»), а словно бы вообще приостановило свой бег. Борисова-Мусатова знают почти исключительно как автора фигурных композиций. Но ведь он был еще и создателем совершенно особой пейзажной линии в русском искусстве. Это не точное воссоздание ландшафтных форм (И. Шишкин) и не пейзаж-переживание (А. Саврасов, И. Левитан, В. Серов), но пейзаж-видéние. В нем реальные мотивы и детали узнаваемы, но предстают в новом обличье, в немыслимых при «прямом» взгляде на натуру сплетениях, вариациях и смещениях. Как правило, они погружены в миражную цветовую дымку. Так выглядели и «Маки в саду» (1894), и «Дерево» (конец 1890-х годов), и пейзажные части «Осеннего мотива» (1899), «Весны» (1898—1901). «Цветущие вишни» 1901 года представляют такой пейзажный принцип в законченном виде. Тут вовсе нет разворачивающейся в глубину перспективы, изображение едва ли не буквально поднесено к глазам зрителя. И зелень весенней травы, и прозрачная белизна словно облаками окутанных цветущих вишен почти лишены материальности, они словно во сне привиделись. Все это создает ничем не связанную свободу впечатлений, которые можно направлять и видоизменять как мелодический рисунок музыкальной фразы. В этом одна из основ образной условности полотен Борисова-Мусатова: подобно музыке, они всегда объединяют мгновенное и вечное, сиюминутное чувство и масштабное обобщение.

Быть может, именно здесь таится ключ к философии времени в творчестве мастера. Она, эта философия, имеет непростые особенности, которые сбивали с толку иных комментаторов. Уже шла речь о том, что в «Автопортрете с сестрой» женский персонаж одет в старинное платье. Картины «Осенний мотив», «Гармония» (1899—1900), «Мотив без слов» (1900), «Прогулка» (1901) также включают в себя костюмировку XVIII века, отголоски «галантных» сюжетов. Однако не только предметные детали, пейзажные фоны, но и общее настроение изображенных сцен вовсе не отнесены к той или иной конкретной эпохе. Костюмировка здесь представляет собой легкий маскарад, предназначенный не для того, чтобы как-то точно датировать показанное действие, а, напротив, чтобы выключить его из определенного времени и поставить вообще вне четких хронологических рамок. В этом, к слову сказать, решительное отличие Борисова-Мусатова от участников «Мира искусства», с которыми его нередко сравнивали. Ведь у Сомова, Бенуа, Лансере представлены времена Людовика XIV и Екатерины II со всей мыслимой точностью аксессуаров и деталей как своего рода исторические спектакли. А у Борисова-Мусатова действие происходит никогда и всегда — это не даты эпохи, а время идеала.

Впервые такая система художественного времени, шире того — образно-философского взгляда на жизнь получает законченно-последовательную форму в картине «Гобелен». Ее действие оказывается в зыбком средостении между реальностью и видéнием. И парк, и дворец XVIII века, составляющие фон изображения, имели свой конкретный прототип (в имении князей Прозоровских-Голицыных Зубриловке). Но сказочная красота, тихая умиротворенность, мечтательная нега цветовых оттенков предстающего в полотне пейзажа — это, конечно, поэтическое видоизменение натуры, настолько основательное, что она явлена в новом качестве, оказывается призраком неведомого, счастливого края. Также и две женские фигуры на переднем плане. Для них обеих позировала сестра художника Елена, но эти изящные, хрупкие девушки в широких платьях старинного покроя, сложно, словно бы в некоем церемонном танце изогнувшие свои тела, кажутся персонажами какого-то удивительного зрелища, пленительно-светлого и вместе с тем смешанного с печалью. Само название «Гобелен», несомненно, связано с такого рода зрелищностью — перед вами не сцена из истории или современности, но фантазия на темы душевной гармонии и красоты. В таких фантазиях всегда первостепенное место принадлежит музыкально-ритмическим и декоративным моментам. Живопись полотна выглядит несколько приглушенной, взятой в минорной тональности. Недаром Борисов-Мусатов отказывается от красочной интенсивности масляной техники и возрождает забытую в русской живописи темперу с ее «тихой», матовой фактурой (чуть позже, вслед за Борисовым-Мусатовым, эту технику будут применять многим обязанные ему мастера объединения «Голубая роза», среди них П. Кузнецов и М. Сарьян). В «Гобелене» масса тонких и сложных цветовых переходов, они сияют мягкими перламутровыми отблесками, что в конечном счете и определяет столь свойственное мусатовским картинам впечатление сна наяву — хрупкого, неустойчивого, проникнутого мечтой о чистом и радужном счастье. Мечтой! В том-то и дело! Ее неосуществленность, быть может, недостижимость и придает картинам мастера неизменный оттенок грусти. Он ясно ощутим и в са-

В. Э. БОРИСОВ-МУСАТОВ. ВОДОЕМ. 1902.



АГАВА. 1897.

ИЗУМРУДНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. 1903—1904.

мом прославленном из произведений Борисова-Мусатова — «Водоем».

На этот раз название не отсылает зрителя ни к старине, ни к миру воображения. Да и в самой сюжетной схеме картины нет ничего необычайного — две девушки на берегу озера. Но уже первый взгляд на композицию отмечает в ней острый ход «от обратного»: основная часть пейзажа показана не непосредственно, а отраженной в чуть дрожащей поверхности водоема. Такой «перевертыш» сразу же придает всему действию условно-зрелищный характер. Озеро стало зеркалом для голубого, в облаках, неба, узорчатой листвы деревьев. Они образуют загадочное подводное царство, необычайно расширяют пространственные координаты полотна. И девушки на берегу этих бездонных вод, перекликающихся с небесами, решительно отдалены от обычного и заурядного. Опять же художник балансирует тут между сходством и несходством, между живыми прототипами и полетом воображения. Показаны и вполне узнаваемы реальные лица: слева та же сестра художника Елена Мусатова, справа — его невеста Елена Александрова. Но они тут предстают не сами по себе, а в образной трансформации. Заметьте: девушки находятся рядом, но совершенно не замечают друг друга, каждая живет в своем мире чувств и размышлений. Левая, в розовой шали, слегка склонив голову, погружена в тихое лирическое созерцание; правая с каким-то неясным, сдержанным изумлением вглядывается в расстилающуюся перед ней даль — конечно, она смотрит не на что-то определенное, а мысленно встречается со своим будущим. Должно быть, оно предстает ее взору и чувству таким же неясным, странным, как вот эти небеса и деревья, опрокинутые в озеро. Такие внутренние связи в картине не очевидны, но подсказываются всем ее внутренним строем.

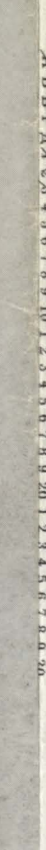
Этот строй, это сложное движение образа «Водоема» в огромной мере определяются его изобразительным языком, который обладает редким совершенством и «красноречивостью» выразительных средств.

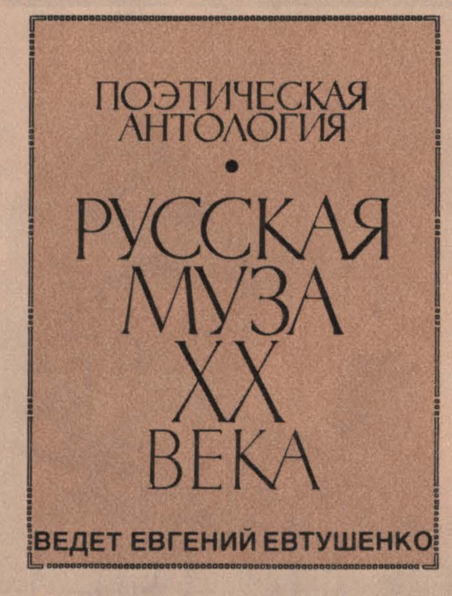
Тут следует заметить, что В. Э. Борисов-Мусатов — один из тех выдающихся мастеров русской живописи, которые решительно видоизменили в ней на рубеже XIX—XX веков всю структуру взаимоотношений между образом и формой. Во второй половине XIX столетия абсолютно преобладала иллюстра-

Продолжение на вкл. 3.



КУСТ ОРЕШНИКА. 1905.





Мария ПЕТРОВЫХ

1908—1979



Начала печататься в 1926 году. Всегда обладала высокой репутацией в кругах литературной элиты — даже нещедрая на похвалы Ахматова назвала ее стихи «самобытными и точными». Однако на «дневную поверхность» литературы собственные стихи Петровых выходили редко — все больше переводы, особенно с армянского. У Петровых был узкий, но верный круг поклонников. Со своей строгой челкой, и некрасивой красотой слегка грубоватого и в то же время отнюдь не простоватого, а волевого чеканного лица — она жила отдельно от так называемой общественной жизни, оставаясь одним из загадочно выживших сильных характеров. Талант ее был недооценен официальной критикой и несколько переоценен поклонниками. На мой взгляд, это фигура поэзии достойная, но не более. Впрочем, это не так уж мало.

* * *

У человечества одышка
От спешки яростной, как будто —
Последний день, а завтра — крышка
И мрак последнего уюта.

1969

* * *

Судьба за мной присматривала
в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба.

Она ко мне внимательна особо
И на немые муки торовата.
А счастье исчезало без возврата...
За что, я не пойму, такая злоба?

И все исподтишка, все шито-крыто.
И вот сидит на краешке порога
Старуха у разбитого корыта.

— А что? — сказала б ты.
— И впрямь старуха.

Ни памяти, ни зрения, ни слуха.
Сидит, бормочет про судьбу,
про бога...

1967

* * *

Развратник, лицемер, ханжа...
От оскорбления дрожа,
Тебя кляну и обличаю.
В овечьей шкуре лютый зверь,
Предатель подлый, верь не верь,
Но я в тебе души не чаю.

Ксения НЕКРАСОВА

1912—1958



«Ксюша голосом сельской пророчицы запричитала свои стихи» — так писал Слуцкий, встретив после войны Ксению Некрасову у Большого театра. Ксюша была вроде деревенской дурочки при Союзе писателей, и ей разрешалось говорить вслух то, о чем другие и подумать боялись. Таково на Руси вечное право блаженных. Ксюша была некрасивая, неуклюжая и всегда ходила в ярких лубочных платьях, похожая на домработницу, взятую из деревни, где и дыму-то паровозного не нюхивали. Я не поклонник портретов Глазунова, но Ксюшин его портрет замечателен. Ксюшины верлибры — это чарующая смесь русского нерифмованного фольклора и чего-то уитменовского. Одна только Ксюшина строчка «Лежало озеро с отбитыми краями» говорит, что она была истинным поэтом.

СЛЕПОЙ

По тротуару идет слепой,
а кругом — деревья в цвету.
Рукой ощущает он
форму резных ветвей.
Вот акации мелкий лист,
у каштана литая зыбь.
И цветы, как иголки звезд,
касаются рук его.
Тише, строчки мои,
не шумите в стихах:
человек постигает лицо вещей.
Если очи взяла война —
ладони глядят его,
десять зрачков на пальцах его,
и огромный мир впереди.

ГОТИКА

Взлетали стены,
суживаясь к солнцу,
и свод, как череп изнутри,
вздымал надбровницы и дуги,
без позолот и мишуры,
лишь щеки пышно надувая,
в серебряные дудочки играют
младенцы ангелы в раю.
Одеты в ризы кружевные,
стоят надменные святые.
Вот, с книгою в руках,
на пьедестале каменный монах,
и руки, словно клювы
хищной птицы,
терзают вечные страницы,
высасывая ересь из листов.
Лоб затемняют складки капюшона,
и провалились щеки внутрь лица.
Но губы он
не спрячет никуда,
они сочны,
влажны
и тайно сытость любят
больше бога...
Потомки ручки им целуют,
поклоны бьют
и свечки жгут.

ИЗ ДЕТСТВА

Я полоскала небо в речке
И на новой лыковой веревке
Развесила небо сушиться.
А потом мы овечьи шубы
С отцовской спины надели,
И сели
в телегу,
И с плугом
Поехали в поле сеять.
Один ноги свесил с телеги
И взбалтывал воздух, как сливки,
А глаза другого глядели
В тележьи щели.
А колеса на оси,
Как петушьи очи, вертелись.
Ну, а я посреди телеги,
Как в деревянной сказке, сидела.

1948

УЛИЦА

Волнует улица меня
неуловимою идеей,
которую назвать я не умею,
лишь стать частицей улицы могу.
Пойдем вдвоем,
читатель милый,
по вечереющей Москве
и с улицей смешаем цвет
одежд своих,
восторженность весны
с толпою разделив...

Давай присядем здесь —
в тени листвы —
и будем лица проходящих
читать, как лучшие стихи.

И город встал,
касаясь облаков,
одетый в камень
и украшен медью.
И в окнах зори отражались.
И вальсы, как грядущее, звучали,
и синими огнями загорались
вечерние рекламы на фасадах.
И на безлиственных сучках
цвел чашечками розовый миндаль...
И множество детей,
как первые цветы,
лежали на простынках белых
и в первый раз глядели в небеса.

Вон
детский врач идет
с улыбкой Джиоконды,
дано ей травами младенцев мыть,
и солнцем вытирать,
и воздухом лечить.

Еще вон женщина прошла,
шелками стянута она,
как гусеница майского жука,
и серьги с красными камнями
висят, как люстры, под ушами,
и от безделья кисти рук
черты разумные теряют.

Две ножки в пестрых босоножках
девчонку дерзкую несли
с глазами яркими, как всплески,
на платье — яблоня в цвету.

Навстречу ей
студенты шли,
веселья звучного полны,
с умом колючим за очками
и просто с синими глазами...

Взволнованных мечтаний
город полн...
Он вечно улицами молод
и переулками бессмертно стар.

МОЕ ПАЛЬТО

Мое пальто!
Все собираюсь я
Твой внешний вид
Прославить перед миром
В наш многотрудный,
Многодумный век.
Но не к лицу теперь
Стихами облачаться,—
Все о куске,
О хлебе
Думают народы.
Душа и бог
Преобразованы в желудок,—
Что в нас лежит
И требует почтенья.
Мое пальто!
Твои седые петли
И воротник, в морщинах от тревог,
И плечи, поникшие
От тяжкого раздумья,
Все горести мои
С тобой, мое пальто.
Мы оба так нелепы
И смешны
Среди желудочных молитв и
баснопений,
И больно мне слепое отношенье
К твоим полам,
К твоим локтям,
Мое пальто.

1943

РУБЛЕВ. XV ВЕК

Поэт ходил ногами по земле,
а головою прикасался к небу.
Была душа поэта словно полдень,
и все лицо заполнили глаза.

Владислав МИКОША

Сегодня, когда поезд времени ушел далеко и прожитое моим поколением принадлежит истории, хочется зачерпнуть из того «далека» только чистую правду чувств и мыслей, открытий и откровений. Нелегкую правду прозрения.

ПЕРВАЯ СЪЕМКА

Кончились теоретические занятия на операторском факультете Государственного института кинематографии. Меня приняли ассистентом кинооператора на студию кинохроники на Брянке, и я сразу попал в водоворот главных событий нашей страны. Первое мая 1931 года на Красной площади было моим началом, приобщением к операторской работе в советской кинохронике.

Каждого кинооператора «разводил» по точкам заранее прикрепленный товарищ. Они, как правило, ходили с поднятыми воротниками, отчего их прозвали «воротники». Наш «воротник» подвел нас с оператором Семеновым к правому крылу Мавзолея, где на тротуаре, недалеко от ограды и голубых елок, стоял полутораметровый деревянный куб.

— Вот ваше место! Ставьте аппаратуру, и отсюда никуда! Поняли?

На той ли, первой съемке у Мавзолея видел я, как появились на гостевой трибуне Качалов, Мейерхольд, Станиславский, Томский, Кончаловский, Нежданова, Щукин, Обухова, Толстой, Чуковский, Федин, Соболев? В тот первый раз я понял, как трудно было снимать нашим кинохроникерам, не выходя из рамок дозволенного. Их строго охраняли прикрепленные к каждому «воротники».

Вдруг застрекотала наша камера. Ударили куранты. На площадь обрушилась овация. Легкой походкой, в черных сапогах, ступая по гранитным ступеням, на трибуну Мавзолея стал подниматься Сталин. Немного отстав, за ним шли Молотов, Ворошилов и другие. Меня охватило непонятное волнение — такого я никогда не испытывал. Я забыл, что стою рядом с моим «шефом», которому нужно помогать.



Богатейшую кинолетопись страны создали операторы-хроникеры, начиная с летописи революции. Было их немного. Так, около трех миллионов метров военной хроники сняли 252 фронтовых кинооператора. Всего 252! Они были свидетелями и участниками всего, что пережила страна. Один из них — Владислав Микоша. Ему выпало снимать и прилет «Графа Цеппелина», и спасение челюскинцев, и альпиниаду РККф, и разрушение храма Христа Спасителя. Его камера запечатлела Анри Барбюса и Бернарда Шоу, академика Павлова и Валерия Чкалова, Дмитрия Шостаковича и Василия Ивановича Качалова. Неоднократно снимал он Сталина и Мао Цзэдуна, Хрущева и Андропова, Эйзенхауэра и Кеннеди.

Он снимал оборону Одессы и Севастополя — от первого до последнего дня, ходил с конвоями в «огненную кругосветку» в 1942—1943 годах, снимал освобождение Кавказа, Крыма, Украины, Болгарии, Румынии, Польши, был ранен на Одере, где закончилась для него «европейская кампания». А затем — война с Японией, подписание капитуляции на линкоре «Миссури».

И как на фронте отмечалась его «сумасшедшая смелость», так и во всем, что он пишет, отмечает его «сумасшедшая искренность». В своей книге о войне «Рядом с солдатом» он честно написал, что не был бесстрашным, а просто преодолевал страх.

Эти воспоминания тоже отмечены удивительной искренностью и открытостью. Не просто воспоминания о фактах, но попытка проследить непростую диалектику заблуждения и прозрения.

Его съёмки, фотоснимки его коллег, фотокорреспондентов помогают нам вернуться в это сложное и противоречивое время.

Взорванная совесть

А кому-то невесело...

1935 год. Парад физкультурников: колонна матерей... Нам песня строить и жить помогает... Канал



ТЯЖКИЙ П



Хорошо, что он неотрывно крутил ручку и смотрел в камеру — тоже на Него.

Передо мной на высокой трибуне Мавзолея, над коротким словом «Ленин», стоял Сталин с поднятой в приветствии рукой и скупой улыбкой из-под черных усов. Я, как загипнотизированный, смотрел на него и тряся в волнении. Из этого состояния меня вывел Семенов. Кончилась пленка — нужна новая кассета.

— Давай скорей! Что с тобой? Ты весь дрожишь — тебе холодно? Ты первый раз видишь Его? Ничего, не волнуйся! Это, как правило, бывает! Закаляйся! — успокаивал меня «шеф».

Я не был уже мальчишкой — мой возраст, двадцать один год, для того времени был вполне зрелым, но я всего два года как поступил в ГТК, куда приехал из Саратова, и был далек от всего, что не касалось моей будущей профессии. Испытанный мной мандраж был для меня непривычным. И неодолимым. От зарядки до перезарядки камеры у меня было достаточно свободного времени, чтобы находиться под сильным гипнозом стоящего передо мной «Великого гения человечества». Живым я его раньше не видел. Мое знакомство с ним через газеты и журналы никогда не волновало. Что же произошло теперь, когда я увидел Его живым? Откуда такое неожиданное волнение?

АНТИХРИСТ

В конце лета меня вызвал наш строгий, но очень нами уважаемый и любимый директор студии Кинохроники на Брянке — Виктор Иосилевич.

— Я решил тебе, Микоша, доверить очень серьезную работу! Только будет лучше об этом меньше болтать. Помалкивать, понял? — И он поднял выше головы указательный палец. Посмотрев очень пристально мне в глаза, сказал:

— Есть указание снести храм Христа! Будешь снимать!

Мне показалось, что он сам не верит в это «указание». Я, сам не знаю почему, вдруг задал ему вопрос:

— А что, Исаакиевский собор в Ленинграде тоже будут сносить?

Не думаю. А впрочем, не знаю... Не знаю... Так вот, с завтрашнего дня ты будешь вести наблюдение за его разборкой, снимая как можно подробнее и детальнее всю работу, с ограждения его до самого конца, понял? «Патронов» не жалеть. Как понимаешь, это надолго и всерьез, я на тебя надеюсь.



УТЬ ПРОЗРЕНИЯ

Когда я дома под большим секретом сказал, что будут сносить храм Христа, мама не поверила.

— Этого не может быть! Во-первых, это — произведение искусства. Какой красоты в нем мраморные скульптуры, золотые оклады, иконы, фрески на стенах! Их же писали лучшие художники — Суриков, Верещагин, Маковский... И скульптуры Клодта! Мы ведь все на него деньги жертвовали — по всей Руси — от нищих до господ... Упаси бог!..— Мама разволновалась, замолчала. Потом, взяв себя в руки, сказала:

— Сам Господь Бог не позволит совершить такое кощунственное злодеяние против всего русского народа, построившего этот храм...

Я промолчал. Не стал расстраивать маму, все равно она не может в это поверить. А утром уже снимал, как вокруг храма строили высокий глухой забор.

Первые минуты я даже не мог снимать. Получая задание, я, конечно же, не предполагал, что мне предстоит пережить и перечувствовать. Когда Иосилевич сказал: «Будешь снимать снесение храма Христа Спасителя», я все принял это просто, как информацию об очередной съемке. Я не мог предположить, что все, что я буду снимать, врежется в мою душу, в мое сердце, будет терзать меня и долго саднить и кровоточить болью уже после того, когда храма не станет,— всю оставшуюся жизнь...

До сих пор я так и не понял: чей приказ я выполнял? Тех, кто отдал «указание» снести храм? Тогда зачем им, окружившим свое варварское деяние высоким забором, это тщательное, душу раздирающее киносвидетельство? Класть в спецхран киноархива это чудовищное обвинение себе — за гранью всякой логики... Или это Иосилевич, рискуя вся и всем, взял на себя решение оставить это свидетельство для будущих поколений?.. Поэтому и — «помалкивай»? Но чем и как оправдывал он мои съемки перед теми, кто обязан был «все видеть и все знать»?

Тогда все, что я должен был снимать, было как страшный сон, от которого хочешь проснуться и не можешь. Через широкие распахнутые двери выволакивали с петлями на шее чудесные мраморные творения. Их сбрасывали с высоты на землю, в грязь. Отлетали руки, головы, крылья ангелов, раскалывались мраморные горельефы, порфирные колонны дробились отбойными молотками. Стаскивались стальными тросами при помощи мощных тракторов золотые кресты с малых куполов. Погибала уникальная живописная роспись на стенах собора. Рушилась привезенная из Бельгии и Италии бесценная мраморная облицовка стен.

Стиснув зубы, я начал снимать. Изо дня в день, как муравьи, копошились, облепив собор, военизированные отряды. За строительную ограду пропускали только с особым пропуском.

Шло время, оголились от золота купола, потеряли живописную роспись стены. В пустые провалы огромных окон врывался ледяной, со снегом ветер. Рабочие батальоны в буденовках начали вгрызаться в стены, но стены оказали упорное сопротивление. Ломались отбойные молотки. Ни ломы, ни тяжелые кувалды, ни огромные стальные зубила не могли преодолеть сопротивления камня. Храм был сложен из огромных плит песчаника, которые при кладке заливались вместо цемента расплавленным свинцом. Всю зиму работали военные батальоны и ничего не могли сделать со стенами. Тогда пришел приказ. Мне сказал под большим секретом симпатичный инженер:

— Сталин был возмущен нашим бессилием и приказал взорвать собор.

Только сила огромного взрыва окончательно уничтожила храм Христа Спасителя, превратив его в огромную груду развалин, внутри которой мог свободно поместиться собор с колокольней Ивана Великого.

Мама долго плакала по ночам. Молчала о храме. Только раз сказала:

— Судьба не простит нам содеянного!

— Почему нам? — спросила жена.

— А кому же? Всем нам... Человек должен строить... А разрушать — это дело Антихриста... Мы же все, как один, деньги отдавали на него, что же все, как один, и спасти не могли?..

Я не верил в бога. Но тоже долго просыпался от кошмаров. В одну из ночей даже увидел в руинах свой дом — весь Ленинградский проспект, на котором мы жили. Это было так страшно, что я никому, даже маме, не рассказал об этом...

Но время шло, и я старался забыть боль тех съемок, боль того сна...

Я не верил в бога. Я верил в Него.

ЕЩЕ ОДНА СЪЕМКА...

Вчера ночью была страшная духота. Я никак не мог заснуть. На часах было около двух. Вышел на балкон,— в доме напротив, у парадного, стоял «черный ворон». Военные в форме НКВД выводили двоих: мужчину и женщину. Рядом стоял наш домоуправ. «Это тоже враги народа?» — подумал я, и в этот же момент у меня зашевелилось сомнение — сколько же их? Долго я не мог заснуть, представляя себе, что с ними будут делать на Лубянке. Было гадко, не по себе.

Праздничным октябрьским утром, развернув «Известия», прочел:

«Не дадим врагам народа повернуть вспять колесо истории!»

— Боже! Сколько же у нас их развелось, врагов народа! — причитала мама, читая газету.— Живем хорошо! Все-то у нас есть, и чего это им надо? Врагам этим! Будь они прокляты! Извини меня, боже!

А ровно в 10 я снова снимал Сталина на высокой трибуне Мавзолея. Сталин был красив и царствен. Позже, когда я увидел его совсем близко, я не мог понять, как этот маленький, низкорослый человек с изъеденным оспой лицом мог производить такое впечатление? Что за странное искажение сознания, восприятия срабатывало на расстоянии — даже небольшом?

Парады Первомайские, Октябрьские, Физкультурные, Авиационные. И всюду Он. Единственный. Только Он. И никто другой. Снимая крупные планы, я видел глаза, выражавшие преданность и обожание. А Он стоял над ними, проходящими внизу, как царь, римский император, монарх. «Не может быть, чтобы от Него исходили все эти аресты и расстрелы. От Него просто скрывают...» — думал я, стоя на своей «точке» у Мавзолея.

Было пасмурно и довольно холодно. Шел редкий снег. Я стоял с кинокамерой на высоком деревянном кубе у правого крыла Мавзолея и снимал проходящую демонстрацию. Неожиданно меня поманил с куба вниз «товарищ» в штатском. Я знал, что он из Его охраны. Слезая с куба, я вдруг поймал себя на том, что у меня тревожно забилось сердце.

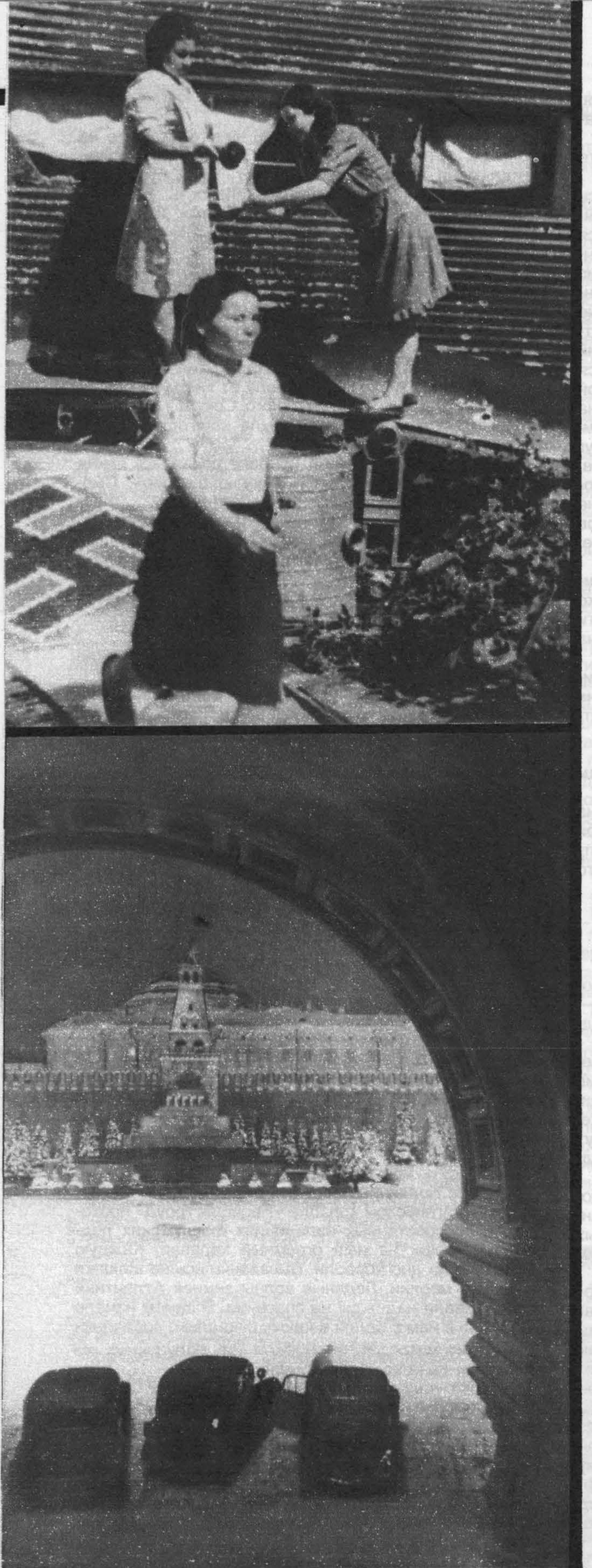


И сказал ОН: «Братья и сестры!..»

Отец народов. Сталин и Мамлакат Нахангова

Ночь над Красной площадью.





— Где ваша шапка? Немедленно наденьте ее! — грозно, но тихо, чтобы не привлекать постороннего внимания, скомандовал он.

— У меня нет шапки, я зимой хожу без шапки!

— Тогда немедленно с площади и чтобы духу твоего здесь не было!

— Почему? Чем я провинился?

— А сам не можешь сообразить?

— Нет!

— Привлекаешь на себя внимание демонстрантов. Вместо вождя на тебя все пялят глаза. Такой холодина, снег идет, а ты, герой, с голой башкой у всех на виду! — Наш тихий разговор услышал мой ассистент и дал мне свою шапку, а сам спрятался от холода в кубе, накрыв голову зарядным мешком.

— Если еще раз увижу без головного убора — пеняй сам на себя,— пригрозил он и что-то записал в книжечку.

Состояние сделалось омерзительное. Я чувствовал себя то ли без вины виноватым, то ли преступником. Несколько дней уговаривал себя, что сам виноват: на ТАКУЮ съемку надо собираться с головой. Ведь мне доверяют снимать Самого!

Впрочем, нам не такое еще «доверяли» снимать. Со съемки строительства канала Москва — Волга возвратился оператор — мой сокурсник Костя Широнин. Он отвел меня в тихий уголок и рассказал:

— Ну, насмотрелся я! Такое видел — никогда не забуду. Канал копают заключенные — их тысячи, все за колючей проволокой. Голодные, худые. Много женщин, и даже подростки попадаются. Валят лес, копают землю. Падают от изнеможения, и все вручную. Сторожит их вооруженная охрана с собаками. Сам видел, как умирали на работе — уносили на носилках. И все это в основном по пятьдесят восьмой статье. Страшно. Только смотри никому об этом не говори, а то нас обоих закатают туда же. Сажают по любому поводу. Сказал, что ты недоволен плохими обедами в столовой,— значит, недоволен Советской властью — и привет, шагай на Волгоканал...

Еще страшнее был рассказ приехавшего из Сибири кинооператора Савенко. Там заключенные прокладывали железную дорогу на Восток. Валили тайгу в жесточайшие морозы, вгрызались в вечную мерзлоту, простужались, замерзали насмерть. Выживали очень немногие, а срок — меньше десяти лет не было.

— Я не мог тебе не рассказать. Так страшно, что хотелось душу отвести. Как ты думаешь, Хозяин знает об этом?

Я не ответил, думая о своем.

Я с дрожью вспоминал последнюю съемку у Мавзолея, ярость «своего» «воротника», стащившего меня с куба: «Слава богу, на этот раз пронесло. А может быть, не пронесло? Ведь он что-то там у себя записывал...»

Съемок этих «доверительных», о которых рассказывали ребята, никто не видел — ни мы, ни тем более зрители. Они ложились мертвым грузом в закрытые архивы. И не знаю, кто успевал посмотреть их до их архивного заточения.

А время день ото дня приносило все новые и новые недоумения и заставляло задумываться — тяжело и безысходно. Что-то очень часто и близко «падали снаряды», становилось страшно, особенно по ночам. Невольно, просыпаясь, прислушивался к шагам на лестнице. Уж не за мною ли прибыл «черный ворон»?

Кого-то снова забирали из нашего огромного дома. Было омерзительно от бессилия. Хотелось скорее уснуть, но сон, как назло, не шел. Мама тоже не могла уснуть и вдруг неожиданно задала мне вопрос:

— Неужели это все враги народа? А мы не окажемся в их числе?

В памяти возник что-то записывающий «воротник», но я ответил:

— Как это тебе могло прийти в голову? Мы же знаем с тобой, кто мы есть на самом деле?

ОБЫСК

Произошло важное событие: на студии меня встретил бывший кинооператор Дзиги Вертова — его брат Михаил Кауфман и предложил снимать с ним большой фильм о маневрах Черноморского флота. Через неделю наша съемочная группа прибыла в Севастополь.

Съемки начались на линкоре «Парижская коммуна». Моей радости не было предела. Нас, всю киногруппу, одели в военно-морскую форму. Я выглядел настоящим матросом, только в руках у меня вместо штурвала или швабры был ручной киноавтомат «Аймо», и мне была предоставлена полная свобода действия.

— Снимай все, что на твой взгляд будет интересным,— сказал мне режиссер.

Море для меня, я понял, было родной стихией, а город Севастополь стал, после Саратова, второй родиной. Мечты детства начали сбываться. За эти дни черноморских маневров я прошел большую школу на море и полюбил его навсегда. Вернувшись в Москву, я долго скучал и томился. Мне не хватало синего простора и ярких зорь восхода и заката, соленого ветра и аромата морского прибоя. Если бы я знал тогда, что судьба готовит мне участие в обороне Севастополя!..

Пока монтировали фильм, я успел проявить и напечатать все, что наснимал фотолейкой, и даже проверил все отпечатки. На каждом снимке на обороте стояла большая печать с датой и личной подписью капитана первого ранга Ушакова.

— Не отказывайтесь! Они вам никогда не помешают! — припечатывая снимки, говорил он.

Я уже не помню, сколько времени прошло после приезда из Севастополя. Под вечер мы с женой возвращались домой на Ленинградское шоссе. На лавочке у парадного сидела мама. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что случилось нечто ужасное.

— Ребятки! Мы пропали — они пришли! — И она заплакала.

— Объясни, кто пришел? Не плачь! Успокойся.

— ГПУшники! Опечатали нашу комнату! — Она снова залилась слезами и протянула мне записку.— Я сняла ее, она была приколота рядом с печатью! «Зайдите к домоуправу»,— гласила записка.

— Ты была у него?

— Я ждала вас, мои дорогие, чуть с ума не сошла. Я так боюсь, неужели мы тоже враги народа?

— Ну, что ты! Успокойся, сейчас все разъяснится, это просто недоразумение! — пробовал я успокоить маму. В ногах появилась слабость, и я невольно присел рядом на лавочку.

Домоуправа я хорошо знал. Это был молодой и не в меру любопытствующий малый. Он ни у кого не вызывал симпатий.

— А, это ты! Уже несколько раз звонили: «Не явился ли?»

Я не попадал в диск телефона. Руки тряслись.

— Ну, что! Волнуешься? Дай наберу.— В это время в трубке мне ответили. Я назвался.

На скамейке сидели обнявшись мама с женой. Я подсел к ним.

— Приказано ждать! — как сумел спокойно сказал я.

Медленно тянулось время — с пяти вечера до двенадцати ночи.

— Пойдемте наверх. Переждем на кухне,— предложил я.

Кремлевские куранты по радио пробили двенадцать. За дверью на лестнице послышались шаги, их было много. Неприятно заныло под ложечкой. Мама крестясь что-то шептала. Длинный звонок показался оглушительным. Я постарался взять себя в руки.

— Ваша фамилия Микоша? Имя Владислав Владиславович? — спросил меня первый, когда я открыл дверь. Он был в форме НКВД с тремя шпалами в петлицах. За ним вошел высокий в штатском и двое с кубиками.

— Прошу ознакомиться! — Он вручил мне листок, отделив его от другого, который спрятал в боковой карман.

— «Ордер на обыск»,— прочел я крупный и четкий заголовок,— что было написано ниже, я не читал. «Слава богу, не арест»,— подумал я. А может быть, на втором листке, который он спрятал, ордер на арест? Не успел я вернуть ордер обратно, как прозвучали два коротких звонка. Это звонили нам. Неужели Кольку черт принес? Я вспомнил — он обещал сегодня вечером вернуть взятый патефон с пластинками. Меня оттеснил штатский и открыл дверь. Вошедший был, конечно, Колька Головин.

— Ради бога, извини, Владик! Я прямо со съемки...— Он осекся и замолчал в полном недоумении.

— Ваши документы, гражданин! Что это у вас?

— Патефон. Я брал его у Владика поиграть. Вот возвращаю...

— Кем он вам приходится? — задал мне вопрос штатский.

— Это мой приятель Коля Головин, актер с «Мосфильма». Вы, наверно, его помните. Он играл матроса с камнем на шее в фильме «Мы из Кронштадта».

— Вам, гражданин, придется здесь задержаться!

Обыск начали с Коли. Он даже карманы вывернул, рассыпав по полу мелочь.

— Чей это патефон?

Коля показал пальцем на меня.

— Сядьте вот сюда и откройте вашу музыку! — строго сказал штатский.

— Хотите работать под музыку? — вдруг отчебучил Коля, открывая патефон и вынимая пластинки.

— Глупые вопросы не рекомендую. Оставьте их при себе!

Патефон был скрупулезно исследован — отвинчивалась верхняя крышка, и заводился механизм. Все пластинки, купленные мною в Торгсине на серебряные ложки, были прочитаны. «Не хватало еще их проиграть»,— подумал я. Вчера я вернул Петру Новицкому Вертинского и Лещенко. Быть бы большой беде, если бы их обнаружили у нас. «Буржуазная пропаганда» была строго запрещена и жестоко каралась.

Принялись за нашу комнату.

— Что же вы ищете? Скажите, и мы честно ответим, есть это у нас или нет! — вдруг сказала мама.

— Вас, мамаша, и вас, гражданка, прошу сесть на диван и не отвлекать нас от работы ненужными вопросами!

— Эти книги все ваши? Чужих нет?

— Свои еще не все осилили!

— Я спрашивал не вас, мамаша, прошу не мешать работать.

Я помогал, как мог. Это отвлекало от назойливой мысли: что нас ждет впереди? Подносил, открывал, раскрывал, просмотренное складывал в одну большую, безобразную кучу. Каждая книга была тщательно пролистана, все белье и одежда прощупаны. Наконец добрались до моего рабочего секретера.

Особый интерес вызвали негативы и отпечатки, снятые мною на военных маневрах Черноморского флота. Их проверяли при помощи лупы — долго, скрупулезно и утомительно. Каждую фотографию сличали с негативом и смотрели сквозь лупу на печать и подпись. «Неужели Ушаков предвидел такую операцию?» — подумал я невольно, глядя на

— происходящее. Комната наша была, можно сказать, вывернута наизнанку. Рассвело.

— В квартире есть телефон? — спросил старший.

— Во дворе есть телефон-автомат.

— Идите доложите! — очень тихо сказал старший штатскому.

Тот ушел. Оставшиеся с трудом нашли место и присели передохнуть. В комнате некуда было ногой ступить — разгром полный.

Мы и они молча ждали. Мама и Зоя — лучше бы на них не смотреть... Я никогда раньше не предполагал, до чего может быть бледен человек.

Наконец пришел штатский. Он отозвал старшего в кухню, они совещались минут двадцать. Вернувшись, сунули мне и Коле листки, где мы должны были дать подписку о неразглашении всего того, что здесь происходило.

— Что нам делать теперь? Можно ли идти на работу? — спросила мама.

— Работайте, как работали, только имейте в виду, вы подписку дали!..

— А как со мной? — засуетился Коля.

— С вами? Не болтать, стать более серьезным и помнить о подписке. Можете идти на съемку!

— Премного благодарен! Премного благодарен! — кланялся Коля.

Они ушли, стуча сапогами по лестнице. Мама стоя, прислонившись к двери, крестилась.

Больше недели мы не заходили домой. Жили у родных. Долго не проходило потрясение. С большим трудом наконец привели в жилой вид свою комнату. Я продолжал работать, но со мной что-то произошло. Будто я стал намного старше. Да нет, не старше — старее.

...Я снова увидел Его на Авиационном параде в Тушине. Сразу стало светло на душе. Растаяли и улетучились всякие дурацкие предположения. На Нем был кремовый френч и в тон ему фуражка. От Него нельзя было оторвать глаз. Празднично одетый народ валил тысячами.

Режиссер фильма об Авиапараде Володя Байков каждому оператору дал четкое задание. Нашему асу — Михаилу Федоровичу Ошуркову — снимать крупно вождя, трибуну и все, что там происходит, а мне — высший пилотаж и реакцию народа. Я пользовался длиннофокусной оптикой и телеобъективом 500. В промежутке между двумя пролетами решил «заглянуть» на Сталина этим объективом. На этот раз я увидел его так близко, как никогда. Он стоял совсем рядом — передо мной. Крупно — во весь кадр. Правильный овал лица, чуть тронутого не то мелкой оспой, не то непонятной рябью. Раньше я этого не замечал. Рыжеватые усы с проседью... Его немного прищуренные, живые, веселые глаза с оранжевой искоркой, показалось мне, все время улыбались...

ЮБИЛЕЙ

...Было жарко. Солнце обрушилось на Севастополь. Небо, как бухарская эмаль, было густо замешано голубым. Канонада стихла. Ее сменил серебряный звон набегавшей на гранит прозрачной волны.

— Немцы пошли обедать! — вылезая из воронки и отряхиваясь, сказал Борис Шейнин. Мы вылезли и сели на гранитные ступени у самой воды.

Левинсон закурил и протянул пачку «Беломора» Сергею Алымову.

— Ребятки, мне завтра стукнет пятьдесят! — глядя куда-то вдаль, грустно сказал Сергей.— Вы еще пацаны, только-только начали порох нюхать, а я уже срок отсидел. Колыму за колючей проволокой осваивал... И кое-что в жизни понял. Узнал, где раки зимуют...

Алымов поднялся. Высокий, сутулый, тяжело ступая по битому, хрустящему, как снег, ракушечнику, пошел в гору.

— Сергей! Не забудь, сегодня вечером, как стемнеет, приходи к нам в гостиницу! — крикнул я. Он оглянулся.— Кого пригласить?

— Всех, кто захочет! Севастополь плохих не держит! А музыка будет? — крикнул Сергей и скрылся за обгорелой руиной.

— Он прав, музыка должна быть,— сказал Левинсон.

Тяжеленное пианино мы с большим трудом перетянули из номера люкс во втором этаже гостиницы «Северная» на третий, в мой номер.

Никто из приглашенных не заставил себя ждать. Один за другим пришли писатель Л. Соболев, журналист Л. Иш, поэт Я. Сашин и гурьбой композиторы — Б. Мокроусов, Ю. Слонов, В. Макаров. Только юбиляр, поэт Сергей Алымов, запаздывал. Наконец, под бравурный марш, который сыграл Юра Слонов, появился виновник торжества. Одновременно с маршем на стене заговорил динамик: «Воздушная тревога». Воздушная тревога! Весь этот экспромт произошел, будто заранее подготовленный.

Залп пробок ударил в потолок, зазвенели граненые стаканы, и первый тост, как на корабле — «За тех, кто в море»,— торжественно произнес капитан первого ранга Леонид Соболев. Второй тост был, конечно, за юбиляра.

— Сергей! Такое никогда больше не повторится! Тебе отсалютовал сигнал Севастопольского морзавода — «Воздушная тревога!»...

Зазвенели граненые стаканы, и полился вместе с шампанским поток сердечных поздравлений.

Время летело быстро. Несколько раз врывались тревога и отбой. Падали близкие и далекие бомбы, дрожали стены, и гас свет. На смену ему загорался синим огнем мандариновый спирт. При его загадочном сиянии послышались тяжелые аккорды. Борис Мокроусов заиграл четырнадцатую сонату — «Лунную». Все замолчали. Перемежались отдаленные вздохи падающих бомб и трагические аккорды Бетховена. Каждый из нас вернулся в свой мир, далекий от войны, от Севастополя. Неожиданно зажегся свет. На стене как-то четко высветился в массивной раме портрет Сталина. Его взгляд, устремленный на нас, мне показался каким-то странным — живым. Таким я видел его на киносъемках в Москве... Вдруг стремительно вскочил из-за стола Сергей Алымов. Зазвенели и посыпались на пол бутылки шампанского, стаканы. Он выхватил из кобуры наган и, не целясь, один за другим всадил все семь зарядов в портрет Сталина. От него, кроме рамы на стене, ничего не осталось.

Наступила ужасная тишина, даже за окнами. Никто не мог вымолвить ни слова. Особенно громко рявкнула воздушная тревога, и погас свет. Мои гости один за другим стали уходить. Последним молча ушел Алымов.

Я остался один на один с расстрелянным Сталиным... Странно, я был совершенно трезв, будто и не пил ни капли. Что делать? Как жить дальше?.. Я открыл окно и впустил в комнату рассвет...

Вошел Левинсон.

— Владик! Немедленно едем на передовую! Там придем в себя!

Он снял пустую раму. Стена была глубоко ранена пулями. К вечеру мы вернулись с передовой. При встрече со всеми участниками на ужине в кают-компании все происходило так, как всегда. Будто совсем ничего не случилось.

Севастополь плохих не держит!

КАПРИЧОС

...На Графской пристани мы, защитники Севастополя, преклонив колено, давали клятву Сталину — стоять насмерть, до последнего патрона, до последней капли крови...

Так и было. Все патроны были выстреляны, раненые, истекая кровью, ждали своей участи, исполнив свой долг и клятву Сталину, убитые — молчали. Очнувшись от тяжелой контузии в Новороссийске, я с горечью в сердце узнал, что Севастополь топчут фашистские сапоги, а меня эвакуировали на подводной лодке...

...Залечилась, прошла контузия. Сменил Черноморский флот на Северный. Севастополь на Архангельск. Осень сорок второго. Мы, четверо военных кинооператоров с разных фронтов, будем сопровождать морской караван в Англию и Америку.

Огромное скопление кораблей всех национальностей в Архангельске привлекло фашистскую авиацию. Деревянный Архангельск превратился в сплошной костер. Стало светло, как днем, жарко, как в Африке. Мы снимали борьбу горожан с огнем, им самоотверженно помогали иностранные моряки. Мое внимание привлек дом профсоюза моряков. На нем во весь фасад висел огромный портрет Сталина. Из окружавших его окон языки пламени со всех сторон набросились на его лицо. Оно, как живое, к моему ужасу, будто от страшной боли в судорогах, наморщив лоб и брови, стало коробиться, а рот из-под охваченных пламенем усов взывал о помощи. Я стоял как завороженный с камерой в руках, не имея сил оторвать взгляда от происходящего. Неужели с ним может произойти... Нет! Нет! Даже думать не нужно...

...Лондон в огне. Ночные тревоги, словно фейерверками, расцветили небо. Оно использовано лучами прожекторов и красно-зелеными трассами зениток. Яркие вспышки и грохот разорвавшихся бомб, охваченные пламенем кварталы. Но перед моими глазами не Лондон — Севастополь... Так все близко и похоже — за горло схватывает.

Мы ждем каравана в Америку и становимся невольными свидетелями ночных налетов фашистов на Лондон. Война идет следом за мной. Одесса, Севастополь, Архангельск и вот Лондон. Город встретил нас, советских морских офицеров, крепкими рукопожатиями, объятиями, поцелуями, расспросами о войне на Востоке.

«Черчилль и Сталин дадут по зубам взбесившемуся Адольфу!»

Вдруг среди прохожих на Оксфорд-стрит мелькнуло знакомое лицо, военная фуражка со звездочкой: Людмила Павличенко — знаменитый севастопольский снайпер. Трудно было поверить! Так бывает только в сказке. Я снимал ее в снайперской засаде среди цветущих яблонь под Севастополем. И вот — неожиданная встреча. Она возвращается из Америки с конгресса студентов. Рассказывает, как вызвали ее к Сталину.

— Ты знаешь меня хорошо. Я ничего на свете не боялась, хотя и бывало иногда очень страшно, но, когда меня ввели в Его кабинет, меня буквально заколотило, в ногах появилась слабость, даже не могу объяснить — подогнулись они сами, и я перед Ним очутилась на коленях. Так меня мама в детстве ставила на колени перед Николаем Угодником. Я даже, кажется, приложилась к Его руке. Хорошо, мы были одни. Он помог мне подняться. Он говорил мало, но я была так взволнована, что точно передать, что Он говорил, не могу. О геройстве, о подвиге, о патриотизме девушек на войне... Единственно, что я ответила ему: «Служу Советскому Союзу!»

Я даже не помню, как я вышла от Него. На другой день я стала Героем Советского Союза...

Наша встреча в Лондоне была короткой. Вскоре Людмила улетела в Москву.

Через несколько дней в Лондоне появилась яркая реклама. «Чарли Чаплин — Адольф Гитлер». Смотрите все: фильм-сенсация! — «Диктатор».

Нас пригласили в большой кинотеатр «Одеон». Имея пригласительные билеты, мы еле пробились через густую толпу бравших «Одеон» приступом. Пока не погас свет, мы, четыре фронтовых кинооператора — Н. Лыткин, В. Соловьев, Р. Халушаков и я,— были под пристальным вниманием окружающих нас зрителей «Одеона».

— Русские моряки! Смотрите! Смотрите! Русские моряки!..

Наконец свет погас. После короля Георга на экране появился маленький человечек у большой пушки, и действие фильма стало медленно развиваться. Чем больше я увлекался действием на экране, тем больше меня охватывало необъяснимое волнение.

— Ты чего ерзаешь? — спросил меня мой сосед Вася Соловьев. Я видел во весь экран Чаплина в роли, и чем чаще, больше и крупней появлялся он на экране, тем сильнее становилось его — даже не сходство — что-то общее и страшно близкое с нашим «Отцом родным»...

— Что ты вертишься?! Мешаешь смотреть! — сказал сидящий слева Халушаков.

Я не вертелся. Я оглядывался — то на Васю, то на Халушакова. Мне почему-то казалось, что они слышали мои мысли и им передалось мое волнение... Гитлер, и вдруг... Что могло быть общего между ним и Сталиным?

— Тебе что, жарко? У тебя лицо мокрое! — Как-то странно посмотрел на меня Вася Соловьев. Неужели он догадался, о чем я сейчас подумал? От этих мыслей мне действительно стало жарко и спина у меня взмокла. Я сидел среди своих близких друзей-фронтовиков, от них у меня никогда не было никаких секретов, и вдруг я испугался — не передалась ли суть моего волнения им?

...Наш с Колей Лыткиным путь из Лондона в Нью-Йорк на английском корабле «Пасифик гроуд» проходил в беспрестанных нападениях фашистских подводных лодок на наш огромный караван. Каждую ночь шли на дно корабли. Высаживались на шлюпки и тонули моряки. Ледяные волны зимней Атлантики мало давали надежды на спасение. В самом начале февраля к нам с Колей в каюту буквально ворвались несколько матросов, выволокли нас, полусонных, на палубу и начали качать с криками:

— Джо тейк Стелинград! Грейт Виктори!

Нас высоко подбрасывали. Мы кувыркались в воздухе. Мелькали мачты, трубы, корабли...

— Рашен Виктори! Сталин — ура! — раздавалось вокруг.— Сталин! Сталин! Сталин!..

А у меня перед глазами вдруг возник маленький человечек с усами — «Диктатор»... Я понял, что теперь этот образ будет неотъемлем для меня от Его имени...

ПОСЛЕДНЯЯ СЪЕМКА

Прошел Парад Победы... Обнаружились у нас новые враги — космополиты, врачи, ученые, писатели, деятели культуры. Снова, как до войны, засновали по ночным улицам Москвы и других городов «черные вороны», собирая новую жатву времени наступившего мира.

Наша студия кинохроники не отставала от общественной кампании. Мы, как и весь наш народ, были особо бдительными. Наши неутомимые общественники проявляли исключительную деятельность и бдительность.

— Как это мы его раньше не распознали? Ведь он явный космополит...

На общем собрании студии в большом павильоне разделали под орех всемирно известного, одного из зачинателей документального кинематографа, режиссера Дзигу Вертова. И главным обвинителем и разоблачителем был его любимый ученик. Обливаясь слезами — в прямом смысле слова,— стоял на трибуне ни в чем не повинный Вертов, пробуя доказать, что он не «верблюд». Собрание признало его буржуазным космополитом. Он стоял растерянный на трибуне, по его щекам градом катились слезы.

а разгневанный зал топал ногами, ревел оскорбительными выкриками:

— Космополит! Тихоня — притаился! Упрятать его подальше! Вон его со студии!..

Я никак не мог понять, в чем его обвиняют. Все выступления были мерзкими, бездоказательными. Мне хотелось крикнуть: «Прекратите это безобразие!» Но я не успел. Только Вертов сошел с трибуны, как взялись за меня. На трибуну взошел начальник лаборатории и обвинил меня в космополитизме. Его главным обвинением была моя последняя съемка Москвы:

— Микоша так снял Москву, что она скорее Нью-Йорк, чем Москва! Кто ему позволил пролетарскую столицу — столицу Мира уподобить городу Желтого дьявола? Только злой космополит может позволить себе такое надругательство над нашей любимой Москвой! Предлагаю его понизить в ассистенты! Пусть исправляется, а там посмотрим...

В ассистенты меня не перевели, но довольно долго не давали работать. Наконец, предложили ехать на Магнитку. Я приготовил аппаратуру, получил восемьсот метров цветной кинопленки и отправился домой. Была суббота, а в понедельник предстояла поездка на Урал.

Вечером, как всегда перед дальней дорогой, наполнил всем необходимым дорожную сумку и попытался уснуть. Радио тяжелыми ударами Спасской башни завершило день. Было душно. Не спалось. Вышел на балкон. К подъезду нашего большого дома подъехала черная «эмка». Неужели опять? Меня охватил гнетущий страх, какого не испытывал на фронте. Во рту пересохло. Да, сомнений больше не было. Шаги остановились у нашей двери. После небольшой паузы — у меня еще теплилась надежда, что не к нам,— раздался продолжительный, будто по сердцу, звонок.

— Здесь проживает Владислав Владиславович Микоша?

Подошли мама и Зоя. На них было страшно смотреть. Наверное, я выглядел не лучше. Вошли двое военных в форме НКВД.

— Оденьтесь и соберите необходимые вещи в дорогу. По возможности быстрее.

Хорошо, маму поддержала вовремя жена. Они молча стояли, прижавшись друг к другу.

— Чего вы испугались? Все будет хорошо, не бойтесь! — сказал военный.

Вещи в дорогу готовить было не надо — будто я все заранее предвидел. Мы обнялись. Мама перекрестила меня, и не помню, как я очутился в машине. Мы мчались по опустевшему Ленинградскому проспекту с недозволенной скоростью. Еще с большей скоростью мчались в моем сознании мысли. У Маяковского машина свернула на Садовую, в сторону Самотеки. «Ну, ясно — на Лубянку»,— подумал я. Меня пробрала дрожь. Все вопросы — за что? почему? — которые я себе задавал, не находили ответа...

Машина с Садово-Каретной вдруг завернула к нам в Лихов переулок и круто, с визгом затормозила у подъезда нашей студии. Я не успел опомниться, как сидящий впереди коротко и властно скомандовал:

— Берите кинокамеру, цветную пленку — всю, какая у вас есть, и все принадлежности для киносъемки и быстро в машину!

Заспанный вахтер, старик Колпин задал глупейший вопрос:

— Кто-то прилетел, да?

— Да! Да! Срочная съемка...

Не прошло и пяти минут, как я со всей аппаратурой и пленкой очутился в машине и она на предельной скорости помчалась по улицам спящей Москвы. Когда она вырвалась на Б. Калужскую, я понял, что мы мчимся на Внуковский аэродром. Глухие ворота Внуковского аэропорта широко распахнулись после резкой сирены нашей «эмки». Мы выехали на летное поле. На старте бетонной дорожки стоял дуглас «СИ 47», и его два пропеллера крутились. Машина круто затормозила у самой железной лесенки открытого люка.

— Быстро в самолет!

Мне помогли закинуть аппаратуру в темный люк, и дверка за мной громко захлопнулась. Было темно. Самолет дернулся, и я упал на жесткое сиденье. Самолет набирал скорость. Зажегся тусклый свет.

— Владик! Как ты сюда попал? — На противоположном сиденье у иллюминатора сидел мой студийный приятель кинооператор Борис Макасеев. У его ног лежали кинокамера и штатив.

Мы оба страшно обрадовались, увидев друг друга. Самолет набирал высоту. Кроме нас, в кабине никого не было. Борис рассказал, как его ночью забрали из дома. Мы оба не знали, что предстоит впереди. Стало светать. Мы прилипли к иллюминаторам, пытаясь определить, в каком направлении летим.

Впереди показалось море. Справа по борту проплыл Новороссийск, и вдруг самолет заложил крутой вираж влево от Новороссийска. Мы летим вдоль побережья в сторону Сочи.

— Ну, слава богу, не на Колыму! — Борис так махнул рукой, что я думал, что он перекрестился.

Самолет пошел на посадку на Сочинский аэродром.

Не успел он остановиться, как к нему подкатил открытый «паккард». Мы с Борисом сразу узнали его — «Папина» машина.

Летчики помогли нам выгрузиться. К нам подошел офицер:

— Майор Семин! В вашем распоряжении! — отрекомендовавшись, он помог нам разместить аппаратуру в своем «паккарде». Сел за руль, и мы не поехали, а понеслись вдоль берега моря в сторону Гагр. Встречные и попутные машины — грузовики и легковые — стояли по обочинам, а некоторые просто в кюветах. Многочисленная милиция по пути нашего следования стояла по стойке «смирно».

Майор Семин подкатил нас к небольшой гостинице. Нам навстречу вышел солидный генерал-лейтенант. Он молча проводил нас до нашего жилья.

В номере с балкона открывался живописный вид на озеро, обрамленное вершинами снеговых гор.

Только через час после обеда вновь появился генерал. Он протянул нам листок бумаги с написанным на машинке на обеих сторонах текстом.

— Вот по этому сценарию вы должны снять фильм. Ознакомьтесь и завтра с утра приступайте к делу. Майор Семин с машиной в полном вашем распоряжении. Я лично буду вам помогать. Запишите мой телефон. Если что нужно — звоните.

Машинописный текст во всю страницу и на полстраницы на обороте. Внизу под словами «Озеро Рица июнь 1952 год» стояла скромная подпись фиолетовыми чернилами — «И. Сталин». Это была живая подпись, не факсимиле. Я ее хорошо запомнил — точно такая же стояла на одном из трех дипломов лауреата Сталинской премии, которые в свое время я получил. Но подлинная подпись его была только на одном — за фильм об обороне Севастополя «Черноморцы» — в 1942 году. На остальных двух стояли факсимильные подписи.

Борис вслух, не торопясь, прочел весь текст. Он был точен, лаконичен, автор знал и даже видел то, о чем писал. За каждой фразой был ясный образ, и его можно было представить на экране.

Все сводилось к тому, чтобы наш народ увидел и приобщился к необычной красоте озера, в голубом зеркале которого отражаются снеговые вершины Кавказских гор. Даже были перечислены сорта ценных пород деревьев и название кавказской орхидеи.

Не один раз в этот вечер мы прочитали «Папин» сценарий. От рассвета до заката мы трудились, не чувствуя усталости. Не прошло и семи дней, как мы объявили об окончании съемок.

Фильм «На озере Рица» был закончен в невиданно короткий срок. Мы с Макасеевым были авторами-операторами, монтировал режиссер Леонид Варламов. После просмотра Иван Григорьевич Большаков, министр кинематографии, поздравив с хорошей картиной, сказал:

— Здорово, ребята! На мой взгляд, все хорошо! Мне нравится, сейчас отправлю туда! На всякий пожарный случай оставьте ваши телефоны. Из Москвы — никуда!

На другой день я с утра на студии. Раздался телефонный звонок. Звонил Большаков:

— Что вы там наснимали? Черт возьми! Немедленно ко мне! — Короткие гудки не дали мне ответить.

Большаков в своем кабинете сидел за столом, левой рукой прикрывая левый глаз. Мы все знали: если министр прикрывает левый глаз, значит, он в великом гневе.

— Что вы там наснимали?! — И он произнес, добавив к вопросу, очень весомую и вразумительную фразу.

— Иван Григорьевич! Вы же все видели...— пробовал я заговорить.

— Видели! Видели! Это мы видели, а не Он! Значит, не так видели!

— Я ухожу на коллегию. Пока не вернусь, сидите и ждите!

Он ушел.

Ждали до вечера. Чего только не передумали! Звонка не последовало.

А утром — на студии звонок.

— Микошу срочно к телефону! — Мне стало жарко. Я сорвался с места и, когда ступил на лестницу, почувствовал нестерпимую боль в контуженой ноге.

— Микоша! Дорогой! Сейчас звонил «сам»! Очень ему понравился фильм. Просил от его имени выразить благодарность кинооператорам! Давай немедленно ко мне! Макасеева ищет секретарь!

Иван Григорьевич вышел из-за стола нам навстречу с протянутыми руками:

— Поздравляю с огромным успехом! Молодцы! Звонил генерал Власик, извинялся: перед показом фильма у киномеханика произошел обрыв ленты и после склейки вылетело слово из текста — вместо «шестидесяти пород деревьев» — получилось только «десяти пород». Вот это-то и возмутило Власика.

Вот так — из-за обрыва пленки на просмотре у «самого» с каждым из нас могло произойти непоправимое...

...Вскоре Его не стало. Горе охватило страну. На Его похороны в Москву хлынул людской океан. Рыдающие массы людей устремились к Колонному залу, и никакие кордоны не могли сдержать этот все сметающий поток людей, потерявших от горя рассудок. Люди с ожесточением рвались вперед. Давили друг друга насмерть. Шагали по трупам. Давили женщин, детей. Горе не только затмило разум, но вселило в толпу невиданную жестокость. Озверевшая толпа рвалась вперед, руша перед собой чугунные ограды парков, переворачивая ограждения из поставленных милицией грузовиков. Толпа, чтобы увидеть Его в последний раз, шла насмерть. Невольно возникало в памяти «За Родину! За Сталина!»...

Долго не проходило чувство великой утраты. Что теперь делать? Как жить дальше без Него? Что будет с нами?..

...Я был в отпуске на берегу Черного моря, когда узнал в подробностях о результатах Двадцатого съезда партии. Первое, на что отреагировало сознание, была медаль лауреата Сталинской премии, блестевшая на лацкане моего пиджака. Я сорвал ее и забросил далеко в море. Мой десятилетний сынишка, ничего не поняв, кинулся в море и после долгого ныряния принес мне медаль.

— Что с тобой, папа? Это награда за войну! За Севастополь!

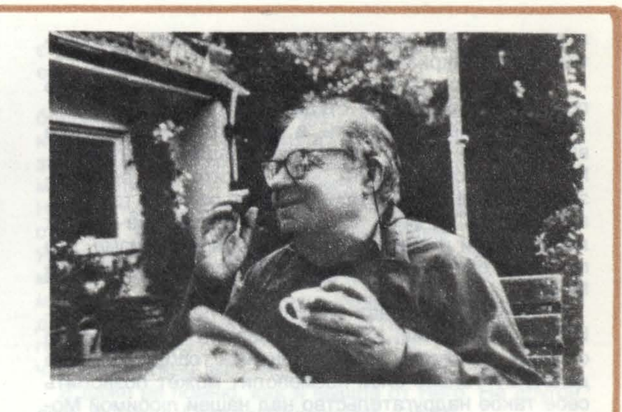


Год 1956...

...Год 1979

Н. КОРЖАВИН

простые вещи



Поэтическая Москва перед Победой и чуть после войны непредставима без Эмки Манделя. В. Тендряков в «Охоте» («Знамя» № 9, 1988) описал, как Эмка бродил в буденовке, в шинели-пелерине (без хлястика), сочиняя ясные вдохновенные стихи. Помню его в 45-м в литстудии «Молодая гвардия» у Дм. Кедрина. В конце занятий Эмку просили читать. И как ни в чем не бывало он читал:

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.

И мы в сотый раз слушали, как в 37-м у юнца «в голове крутилось и вертелось от множества революционных книг», как он «готов был встать за это грудью» и как не верил, «когда насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах». Все-таки поэты — народ неплохой. Стихи не скоро попали в соседнее с Политехническим здание. Но и там Эмка кого-то тронул, и его не взяли, только предупредили.

Я все на свете видел наизнанку,
Я ничего не знал наверняка...
А между тем стояло на Лубянке
Готическое здание Чека,—

услышали мы сразу после посещения Эмкой секретного здания. Чтобы знать все наверняка, он с еще большим рвением взялся за марксизм. И что же? Очень скоро мы услышали:

Но Маркс был творец и гений:
Его не мог оттолкнуть
Проделываемый Гейне
Зигзагообразный путь.

Манделя спасала наша общая вера, что Победа восстановит справедливость и человечность. Он воспел интеллигенцию. Тогда был просвет, к слову «интеллигент» не всегда приклеивалось «гнилой» или «мелкобуржуазный».

Поэт успел поступить в Литинститут, откуда его и взяли в тюрьму и ссылку. Но и там его не покинули надежды, внушенные освободительной войной. Он вернулся в «оттепель» в мундире горняка уже поэтом Наумом Коржавиным, привез поэму «Начальник творчества», где пытался понять, как вышло, что «поодиночке коммунисты идут без боя умирать», и сколь опасен новейший бюрократ, который тогда рос по службе, «сменял исчезнувших врагов» и при этом «был радостно уверен, что это сукины сыны». Коржавин успел выпустить сборник «Годы», перевел уйму стихов, поставил в театре им. Станиславского пьесу «Однажды в двадцатом», восстановил прежние и завел бесчисленные новые дружбы. Но времена опять изменились. Он это ощутил, потеряв в транспорте одну из своих поэм про сороковые годы. Тогда он не боялся, сейчас не захотел бояться. И вот Бостон, США, грустные стихи и письма неприкаянного русского поэта. А у нас его видели лишь в фильме «Бег», в роли эмигранта с усами, говорившего не своим голосом (артист дублировал). Я умею говорить коржавинским голосом. Кайсын Кулиев в поездках звал меня жить в одном номере: «Я храплю. Но ты простишь и изобразишь мне нашего Эмочку». Сейчас мне не нужно изображать голос Наума Коржавина. Я просто предоставляю ему слово.

Валентин БЕРЕСТОВ

ИЗ ПОЭМЫ «ЗОЯ»

Мы родились в большой стране, в России.
Как механизм, губами шевеля,
Нам толковали мысли неплохие
Не верившие в них учителя.
Мальчишки очень чуют запах фальши.
И многим становилось все равно.
Возились с фото и кружились в вальсах,
Не думали и жили стороной.

Такая переменная погода!
А в их сердцах почти что с детских лет
Повальный страх тридцать седьмого года
Оставил свой неизгладимый след.

Но те, кто был умнее и красивей,
Искал путей и мучился вдвойне...
Мы родились в большой стране, в России,
В запутанной, но правильной стране.
И знали, разобраться не умея
И путаясь во множестве вещей,
Что все пути вперед лишь только с нею,
А без нее их нету вообще.

1945

* * *

Предельно краток язык земной,
Он будет всегда таким.
С другим — это значит: то, что со мной,
Но — с другим.

А я победил уже эту боль,
Ушел и махнул рукой:
С другой... Это значит: то, что с тобой,
Но — с другой.

1945

РАССУДОЧНОСТЬ

Мороз был — как жара, и свет — как мгла.
Все очертанья тень заволокла.
Предмет неотличим был от теней.
И стал огромным в полутьме — пигмей.

И должен был твой разум каждый день
Вновь открывать, что значит свет и тень.
Что значит ночь и день, и топь, и гать...
Простые вещи снова открывать.

Он осязанье мыслью подтверждал,
Он сам с годами вроде чувства стал.

Другие наступают времена.
С глаз наконец спадает пелена.
А ты, как за постыдные грехи,
Ругаешь за рассудочность стихи.

Но я не рассуждал. Я шел ко дну.
Смотрел вперед, а видел пелену.
Я ослеплен быть мог от молний-стрел.
Но я глазами разума смотрел.
И повторял, что в небе небо есть
И что земля еще на месте, здесь.
Что тут пучина, ну, а там — причал.
Так мне мой разум чувства возвращал.

Нет! Я на этом до сих пор стою.
Пусть мне простят рассудочность мою.

1956

ВАРИАЦИИ ИЗ НЕКРАСОВА

...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год —
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони — всё скачут и скачут.
А избы — горят и горят.

1960

ДЕТИ В ОСВЕНЦИМЕ

Мужчины мучали детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучали детей.
И это каждый раз опять,—
Кляня, ругаясь без причины...
И детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что — обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.
А дни все шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы,
Но их все били.
Так же.
Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучали детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей,
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это — было.
Мужчины мучали детей.

1961

ПОДОНКИ

Вошли и сели за столом.
Им грош цена, но мы не пьем.
Веселье наше вмиг скосило.
Юнцы, молодчики, шпана,
Тут знают все: им грош цена.
Но все молчат: за ними — сила.

Какая сила, в чем она.
Я ж говорю: им грош цена.
Да, видно, жизнь подобна бреду.
Пусть презираем мы таких,
Но все ж мы думаем о них,
А это тоже — их победа.

Они уселись и сидят.
Хоть знают, как на них глядят
Вокруг и всюду все другие.
Их очень много стало вдруг.
Они средь муз и средь наук,
Везде, где бьется мысль России.

Они бездарны, как беда.
Зато уверены всегда,
Несут бездарность, словно Знамя.
У нас в идеях разнобой,
Они ж всегда верны одной
Простой и ясной — править нами.

1964

* * *

Страх — не взлет для стихов.
Не источник высокой печали.
Я мешок потрохов! —
Так себя я теперь ощущаю.

В царстве лжи и греха
Я б восстал, я сказал бы: «Поспорим!»
Но мои потроха
Протестуют... А я им — покорен.

Тяжко день ото дня
Я влачусь. Задыхаясь. Тоскуя.
Вдруг пропорют меня —
Ведь собрать потрохов не смогу я.

И умру на все дни.
Навсегда. До скончания света.
Словно я — лишь они,
И во мне ничего больше нету.

Если страх — нет греха,
Есть одни только голод и плаха.
Божий мир потроха
Заслоняют — при помощи страха.

Ни поэм, ни стихов.
Что ни скажешь, все кажется: всуе.
Я мешок потрохов.
Я привык. Я лишь только тоскую.

1972

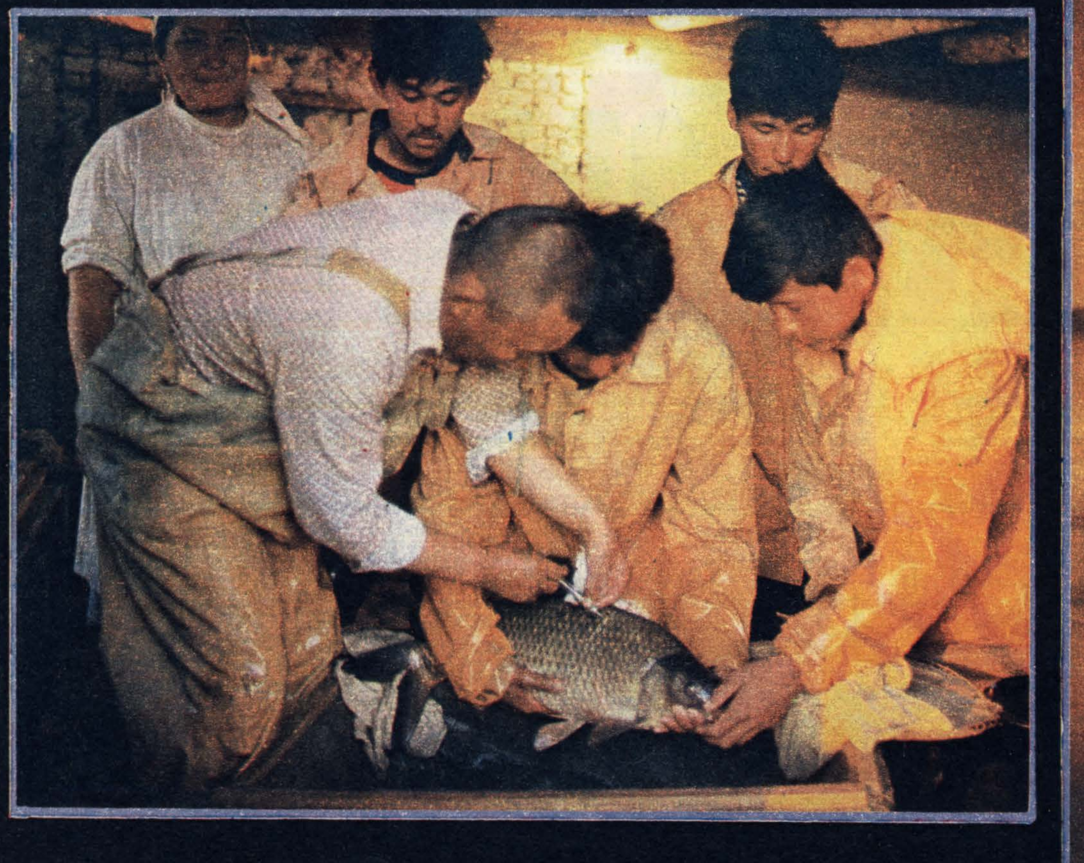
МИРАЖИ АРАЛА

ОНИ ВЫЗЫВАЛИ ЖАЛОСТЬ, КАК ВЫЗЫВАЕТ ЖАЛОСТЬ ЧЬЯ-ТО НЕПРИЮТНАЯ СТАРОСТЬ. БРОШЕННЫЕ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ, ЗАБЫТЫЕ ЛЮДЬМИ, ДАВШИМИ ИМ КОГДА-ТО ЖИЗНЬ, ОНИ УМИРАЛИ ЗДЕСЬ МЕДЛЕННОЙ НЕКРАСИВОЙ СМЕРТЬЮ. ЛИШЕННЫЕ РОДНОЙ, ПРИВЫЧНОЙ СТИХИИ, ОНИ КАЗАЛИСЬ В ЭТИХ БЕСПЛОДНЫХ ПЕСКАХ СЛУЧАЙНЫМИ ПРИШЕЛЬЦАМИ ИНОГО МИРА. НО ОНИ ЕЩЕ ПОМНИЛИ МОРСКИЕ СНЫ, ПОМНИЛИ, ЧТО РАСКАЛЕННЫЙ ПЕСОК, В КОТОРЫЙ ОНИ С КАЖДЫМ ГОДОМ ПОГРУЖАЛИСЬ ВСЕ ГЛУБЖЕ, ЕЩЕ НЕ ТАК ДАВНО БЫЛ ПРОХЛАДНЫМ ДНОМ МОРЯ. ОНИ — ЭТИ РЫБАЦКИЕ СЕЙНЕРЫ, БУКСИРЫ И ДРУГИЕ СУДА, БОРОЗДИВШИЕ НЕКОГДА ВОЛЬНЫЕ ВОДЫ АРАЛА, ПОМНИЛИ, КАК МОРЕ ПРЕДАЛО ИХ, УЙДЯ ОТ ПРИВЫЧНЫХ БЕРЕГОВ...

Юрий ЛУШИН,
собственный корреспондент «Огонька»
Фото автора



Спрыгнув прямо на дно моря с борта экспедиционного грузовика — нашего сухопутного ковчега, я пошел по песку, проламывая покрывавшую его сухую соляную корку, давя подошвами мелкие ракушки. Тотчас же надвинулась на меня сплошная стена сухой горячей пыли с привкусом соли, казалось, заменявшей здесь сам воздух. Сухой горячий ветер заставлял пыль непрестанно двигаться, обжигал



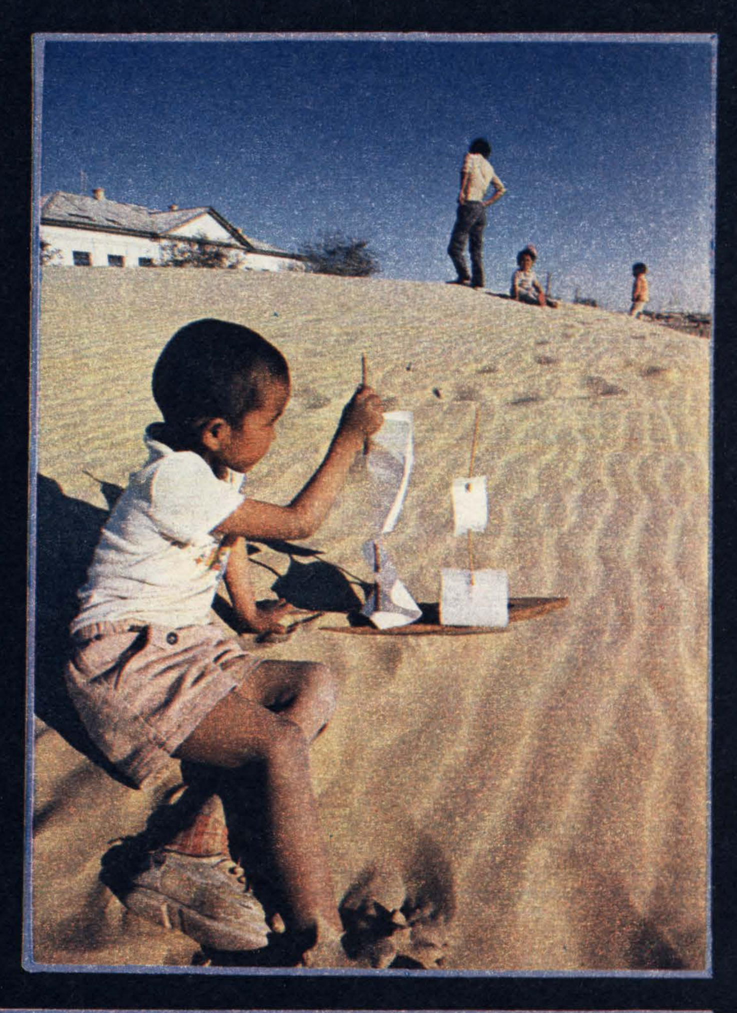


ноздри, слезил глаза. Стало трудно дышать, захотелось пить, но я знал, что на многие десятки километров окрест воды не найти. Я шел по высохшему дну бывшего Аральского моря в тщетной надежде обнаружить хотя бы след чего-то живого, хотя бы звук живой услышать.

Но мертвые соленые пески не могли дать ни жизни растениям, ни приюта птице или зверю. Своим мрачным безмолвием они свидетельствовали о «всемогуществе» человека. Еще бы! 35 миллионов лет жил Арал, а люди умертвили его за каких-то неполных тридцать и близки к тому, чтобы вообще стереть остатки моря с лика земли. Я смотрел, как приехавшие на грузовике кандидаты наук из лаборатории Араловедения, базирующейся в Нукусе, брали с разной глубины пробы грунта, вгрызаясь в его



ПОЛИТБЮРО РАССМОТРЕЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО КОРЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ, КОТОРЫЕ РАЗРАБОТАНЫ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ИЗ ЧИСЛА ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СТРАНЫ. ПОДЧЕРКИВАЛАСЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В РАЙОНАХ ПРИАРАЛЬЯ, СОХРАНЕНИЮ АРАЛЬСКОГО МОРЯ...





толщу ручным буром, измеряли уровень грунтовых вод и насыщенность их солями, обрабатывали пески растворами полимеров, образующими на их поверхности пленку, предотвращающую образование подвижных барханов, как убеждались в неспособности выжить в этих условиях самых соле- и засухоустойчивых растений, высаженных в предыдущий приезд... Чем помогут эти изыскания погибавшему морю? — с сомнением подумал я, а вслух спросил:

— Неужели Арал обречен?

— Представьте себе,— ответил вроде бы невпопад кандидат биологических наук Сапарбай Кабулов, — что на этом самом месте, где мы сейчас стоим, плескалась тринадцатиметровая толща воды...

Продолжение на стр. 18—19.



НЕ ЗНАЮ, КОМУ КАК, А МНЕ ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» ЗАПОМНИЛСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО УЧАСТИЕМ В НЕМ АРКАДИЯ НАСЫРОВА — ВИРТУОЗНОГО, ВЫСШЕГО КЛАССА ЧЕЧЕТОЧНИКА. ПРИТОМ ДОСЕЛЕ СОВЕРШЕННО НЕИЗВЕСТНОГО, НЕВЕСТЬ ОТКУДА ВЗЯВШЕГОСЯ, СЛОВНО ПРИНЦ, ЧЬЕ СКАЗОЧНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО ОБЪЯСНИТЬ. ОДНАКО В ТЕ ДНИ, КОГДА МНОГИЕ КИНОЗРИТЕЛИ, ПОБЫВАВШИЕ НА ПРЕМЬЕРЕ КАРТИНЫ, СТАРАЛИСЬ ЗАПОМНИТЬ ИМЯ «ПРИНЦА ИЗ СКАЗКИ», ЕГО ЖИЗНЬ СКЛАДЫВАЛАСЬ ВЕСЬМА ПРОЗАИЧНО: ОН ОКАЗАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ.

РАМПА

КОНКУРЕНТОВ НЕТ... А ЖАЛЬ!

В эстрадных коллективах и концертных организациях, куда он обращался, просматривали его номера, восхищались, но говорили: завтра приходите, сегодня штаты переполнены. Отчаявшись устроиться куда-либо, Насыров после одного из премьерных показов «Зимнего вечера в Гаграх» обратился к Анатолию Кроллу (известному музыканту и композитору, руководителю оркестра «Современник»), с которым они вместе снимались. Кролл тут же взял к себе молодого танцора, и Насыров стал украшением программы оркестра.

А для артиста работа с «Современником» стала еще и огромным контрастом по сравнению с прежней в цирковом ревю. И не только потому, что у Кролла он солировал, а на манеже приходилось лишь слегка «обрамлять» выступления велосипедистов. Разница была еще и в отношении к нему, к его труду. «Ты не артист!» — в первый же день услышал от «цирковых» выпускник Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ). Какая-то там чечетка (кстати, профессионалы называют ее степ) не искусство, рассуждали руководители ревю. И делали все, чтобы парень как можно меньше показывался на манеже, так что Аркадию приходилось подрабатывать и в качестве униформиста, чтобы свести концы с концами. Я не говорю уже о приобретении концертных костюмов и, главное, специальной обуви на заказ, которая «горит» на ногах степиста.

Да, совсем не так представлял себе начало творческой жизни Насыров, когда, поработав слесарем-сборщиком на заводе «Манометр» и затем отслужив в армии, где танцевал народные танцы в дивизионном ансамбле, поступил в ГУЦЭИ, попал в руки опытнейшего чечеточника Владимира Борисовича Зернова. Того подкупило желание новичка всерьез заняться чечеткой, которая здесь преподавалась лишь как элемент выступления циркового артиста. Но Зернов предупредил: я за полгода сделаю из тебя первоклассного степиста, однако учти, жизнь тебя ждет архитрудная, мы сейчас не нужны никому...

Видимо, эти горькие слова Зернов выстрадал собственной артистической судьбой: в достопамятные времена «борьбы с космополитизмом» из советского эстрадного искусства энергично искоренялись, запрещались чуждые элементы — «цыганщина», гитара, джаз, степ. В частности, многим чечеточникам пришлось срочно переквалифицироваться, «уйти в подполье». Молодого Насырова не смутило предупреждение педагога, и он отважно сделал первый степ-шаг. Произошло это девять лет назад, когда ему шел двадцать первый год.

Через полгода Зернов умер, а Аркадия стал учить второй маэстро чечетки — Алексей Андреевич Быстров (кстати, прототип Беглова, которого играл в «Зимнем вечере...» Е. Евстигнеев). И он умер через полгода... Оба учителя передали Аркадию все, что знали и умели, изо дня в день повторяя: запоминай, больше тебе никто ничего не покажет! Они и научили его не только бить степ, но и многое придумывать самому. Неизвестно, что бы он без этого делал: балетмейстеров-постановщиков степа у нас нет.

Да и откуда им взяться? Если, скажем, джаз можно восстановить, то степ передается «из ног в ноги». Приемы его, тонкости надо непременно показывать и перенимать с натуры. Допустим, общий рисунок целого балета можно восстановить, были бы на бумаге в определенной последовательности записаны названия танцевальных движений: антраша, фуэте и другие па. Объяснить же технику степа на словах невозможно. В нем нет правил, канонов и последовательности, он весь зиждется на импровизации, на джазовом ритме, позволяющем менять рисунок танца, синкопировать, свинговать. Так, как это делал знаменитый Фред Астер, кого Джордж Баланчин назвал «танцором века» и у кого продолжает учебу Аркадий Насыров: бессчетное число раз он просматривал видеозаписи фильмов с участием любимого артиста. Многое из того, что делал знаменитый американец, может повторить Аркадий (а это уже высший пилотаж, подвластный только профессионалу).

Поскольку на отечественной эстраде Насырову учиться давно не у кого,— он сам мало-помалу становится учителем: его приглашают ставить чечетку на телевидение, в московские театры, на творческие вечера кинозвезд. Чечетка вновь входит в моду, хотя Аркадий убежден, что степ не мода, а классический эстрадный жанр, требующий большой культуры как исполнения, так и восприятия.

— Ошибаются те, кто считает степ лишь виртуозной работой ног,— говорит артист.— Это больше интеллектуальный танец, чем трюковой. Ведь на ноги зрители смотрят только первые секунды. Степ — танец драматургически насыщенный, с большими выразительными возможностями. Он позволяет изобразить многое: и объяснение в любви, и ссору, и вражду, ему подвластны ирония и гротеск, и даже трагедия. Степ несет в себе определенную манеру поведения, стиль одежды. Меня привлекает именно так называемый «салонный» герой — стиль чуть возвышенный, изящный, элегантный,— таким был на сцене Фред Астер...

Таким стал на сцене и Аркадий Насыров, хотя ему достичь успеха было объективно труднее. Взять, к примеру, сценические площадки. Как-то Владимир Борисович Зернов, занимаясь с Аркадием, невесело пошутил: Фред Астер на наших сценах переломал бы себе ноги. Да уж, покрытия неважные, не пластиковые, как там. И сцену полностью использовать нельзя из-за местного расположения микрофонов, там же — направленные микрофоны, артисту не нужно думать, как «озвучить» себя, сделать, чтобы стук, одно из основных выразительных средств в чечетке, был слышен всем. «На сцене я главным образом борюсь с микрофонами»,— признался Насыров.

Далее. Для Астера специально сочиняли джазовую музыку, «на него» делали фильмы с участием лучших постановщиков мюзиклов, сценаристов, балетмейстеров. Аркадий Насыров работает один. Сам себе режиссер, сам себе балетмейстер и драматург. Сейчас, когда он с апреля стал солистом Росконцерта, он еще сам себе администратор — должен себя же «толкать» в концерты. Никому до него в его организации нет дела.

Западный коллега Насырова мог готовить, положим, полгода один номер в прекрасных условиях, с нужным реквизитом, а потом получал за его исполнение, за участие в очередном музыкальном фильме достаточно денег, чтобы сделать перерыв — хоть на десять лет — для подготовки новой программы. Аркадию же постоянно приходится заниматься концертно-гастрольной деятельностью, то есть думать о хлебе насущном. Репетировать практически негде, да и времени на подготовку новых номеров остается мало, тем более что он продолжает безотказно помогать как постановщик степа певцам, актерам, эстрадным танцорам. Вот и телевидение регулярно приглашает его в свои передачи, каждый раз желая чего-нибудь «новенького» и побыстрее. Даже приблизительно не представляя, сколько труда, времени нужно для тщательной отработки какого-нибудь «двойного удара», как сложно разыскать подходящую музыкальную запись (нет композиторов, работающих для степа). А на ЦТ еще и пленку с записью могут затерять и сказать: ну что тут страшного? Давай мы тебе другую музыку включим. Такие слова означают полное непонимание специфики жанра. А если взять чуть шире, то весьма низкий культурный уровень нашей эстрадной индустрии.

Но Насыров еще не успел превратиться в пессимиста. Он еще мечтает (а это, как говорят в народе, полезно):

— Совершенно необходимо в корне изменить главную форму эстрадной деятельности — концертную. Вы посмотрите, как составляются программы: тут тебе и духовой оркестр, и цыганское трио, и рок-группа, и брейк. Ну как зритель может всю эту смесь, эту солянку переварить в одном концерте?! Без определенной подготовки, без связного сюжета, музыкального и режиссерского построения...

— То есть вы мечтаете о мюзиклах, музыкальных шоу?

— Именно. А от нас пока только требуют номера́ на-гора, которые тасуются как бог на душу положит. У артистов нет стимула расширять, так сказать, свою специализацию; кроме узких рамок своего жанра, он ничего не знает и не умеет. Вспомните зарубежные развлекательные программы, в том числе из социалистических стран: артист и поет, и танцует, играет на инструментах, а то и жонглирует. У нас даже нет постоянного места, где исполнитель мог бы попробовать себя в разных жанрах, позаниматься, а ведь любое шоу требует расширения творческого диапазона, овладения хотя бы элементами других жанров. Пока же в эстраде артист второстепенен, у нас здесь главные лица — бухгалтер и администратор.

Честно говоря, возлагаю большие надежды на кооперативы досуга, с которыми уже сотрудничают многие «звезды». Как было бы хорошо, если бы возник, скажем, кооператив режиссеров музыкальных представлений, который бы помогал «эстрадникам» в создании оригинальных цельных программ. И вот тогда, я уверен, вспомнят про степ!

Думаю, Аркадий, прав. Степ всегда был любим, несмотря ни на какие гонения. Но надо помнить, что любой жанр существует, если он способен удивлять, восхищать зрителей,— пока артист не достижим в своем профессионализме. И степ в исполнении Аркадия Насырова действительно удивляет, восхищает.

Но ведь таких, как он, практически больше нет на нашей эстраде. Как же тут развиваться жанру? Даже если организуется школа или будет введен класс степа в ГИТИСе (о чем поговаривают педагоги), кто научит юных танцоров? Насыров? Но он сам мечтает учиться еще и еще, не знает только где. И в самом деле, сколько можно вариться в собственном соку? Чем вдохновляться? Разве что ждать, когда приятели привезут из зарубежных гастролей видеозапись какого-либо шоу или урока: в Европе, например, есть школы классического степа.

Тут и мне захотелось помечтать — а почему бы не послать Аркадия Насырова на стажировку, как наших певцов посылают в Италию? Давайте учиться глядеть вперед. Насыров сможет не только усовершенствовать свое мастерство, но со временем (а век танцора — увы — недолог) профессионально преподавать степ и сможет, чего не довелось ни Владимиру Зернову, ни Алексею Быстрову, увидеть своих учеников на сцене...

А пока... Пока самые счастливые для него дни остались позади, на съемках фильма «Зимний вечер в Гаграх». Режиссер Карэн Шахназаров приметил его в ГУЦЭИ на репетиции выпускного номера. К тому времени молодой танцор уже понял: степ надо не просто бить,— быстро, как пулемет, или громко и сильно, подымая с пола клубы пыли,— степ надо танцевать. Легко, свободно, непринужденно, изящно. И режиссер заметил это, через некоторое время прислал приглашение на съемки. Музыкальных фильмов с участием Насырова пока больше не было. Он считает те съемки невероятным везением в судьбе. «Есле бы не «Зимний вечер...», то о степе у нас бы вообще совсем забыли! — горячо, со свойственными его натуре искренностью и открытостью говорил мне Аркадий.— Ну а я... Я бы просто пропал!»

Мне трудно было ему возразить.

Наталья АЛЕКСЕЕВА,
фото Александра НАГРАЛЬЯНА

МИРАЖИ АРАЛА

Начало см. на центральной вкл.

Воды было хоть залейся. Свистел в снастях влажный морской ветер, срывал с волн гребешки, реяли над рыбацкими лодками аральские чайки. Море удивляло: глянешь в глубину — прозрачно, посмотришь вдаль — синее небо. Конечно, любой физик быстро разобрал бы по косточкам этот феномен, но я не хотел объяснений, они убили бы тайну... Таким я увидел Аральское море... на картине, висевшей в холле гостиницы города Муйнака. Подойдя поближе, я обнаружил подпись художника и дату: «Петросян, 1977 год». Картина как картина — холст, масло, метр на полтора размером. Но она знаменита тем, что маринист Петросян одним из последних писал с натуры ЖИВОЕ море. Через год после ее создания из него выловят последнюю рыбу, за год до этого перекроют Сырдарью глухой плотиной, а немного позже и Амударью. Впадать в море они будут теперь только на карте: бумажные реки в бумажное море, тогда как настоящее начнет стремительно уменьшаться в объеме. Предполагал ли такое художник?

Все вокруг было печально и бесприютно, если бы не оживлявший горизонт мираж в виде огромного белокаменного здания.

— Это не мираж,— сказал секретарь Муйнакского райкома партии Жумабай Батыров,— сейчас подъедем, увидите.

Мы ехали сначала по асфальту, и чем дальше, тем больше становилось по сторонам барханов, которые в конце концов погребли под собой дорогу. Последние сотни метров наш вездеход пробивался прямо по пескам.

— Море плескалось когда-то почти у самой дороги,— рассказывал Батыров,— прохладное, чистое, рыбное. Вдоль побережья были пионерские лагеря, зоны отдыха. Сейчас, видите, и следа не осталось, кроме вот этого...

Приехали. Высокие ворота с традиционным запрещающим знаком — «кирпичом», высокая металлическая ограда, за которой белокаменный двухэтажный особняк (номера «люксы», газ, канализация, ванные, мрамор полов, бильярд, кинозал), домик для сторожа и охраны, гаражи, котельная, летняя эстрада, водопровод, высохшие русла арыков с высохшими растениями по берегам. И — ни души... Многие годы в особняке никто не живет. Все это создавалось по личному указанию и под контролем Ш. Рашидова. Тут должны были отдыхать его друзья, приближенные, покровитель, он сам.

— Что теперь с ним делать, никто не знает,— говорил секретарь райкома,— ни одна организация на баланс его не берет.

Ах, белые гостевые юрты на синей аральской волне. Они тоже, как и несуществующий хлопок, оказались припиской Рашидова. Трагичнее всего то, что в уплату за приписки пошло море.

Воды было хоть залейся. С вершины большого бархана я смотрел на квадраты рисовых чеков, уходивших к линии горизонта. Словно бесчисленные зеркала, они блестели под солнцем, отражая небо и гася сочившийся из него зной. Там, в чеках, прорастали стебли риса, и я знал, что для хорошего роста ему нужна только проточная вода. И она текла, текла... Я видел, как заливают рисовые чеки здесь, в Каракалпакии, а еще раньше — в Чардаре, на юге Казахстана, и в Кзыл-Ординской области видел... Я неоднократно наблюдал и обильные поливы «белого золота» — хлопка, ставшего причиной «белой смерти» миллионов гектаров земли — ее повторного засоления и вывода из оборота. Это случалось и в Туркмении, и в Узбекистане, и в Чимкентской области, и здесь, в Каракалпакии.

С уверенностью могу сказать: нигде и никогда нормы полива не соблюдались, везде и всегда они превышались (иногда в три, четыре раза, и это при средней норме в 10 тысяч (?!) кубометров воды на гектар). Разумеется, подобное браконьерство всегда объяснялось благородными побуждениями: борьбой за повышение урожайности хлопка и риса, так необходимых народу, стране. Да, необходимых, но не любой же ценой. Браконьерствуют еще и потому главным образом, что вода никому ничего не стоит. У нее нет цены. Зачем же ее считать, зачем соблюдать какие-то нормы? Вот и льют... Порядка не будет, пока мы не установим цену на воду.

Знаменитый Каракумский канал, протянувшийся почти на 1300 километров, буквально окружил Ашхабад болотами. Для спасения города пришлось пробурить полтораста скважин, чтобы насосами откачивать ненужную воду. Это в пустыне-то! В Средней Азии еще в древние времена существовала поговорка, дошедшая до наших дней: «В пустыне родит не земля, а вода». Увы, теперь возникла другая: «В пустыне губит не песок, а вода». В орошаемой, конечно, пустыне. В Тедженеском оазисе из 70 тысяч гектаров орошаемых земель засолены почти 50 тысяч, на Хаузханском целинном массиве заболочена, выведена из строя половина земель из ста тысяч гектаров, похожая ситуация угрожает Кзыл-Ординской и Чимкентской областям Казахстана. На одном только участке Каракумского канала от водозабора на Амударье до Мургаба потери воды на фильтрацию и испарение составляют до 60 кубометров в секунду (всего же, подсчитано, на всем его протяжении безвозвратно уходит в песок около 10 кубокилометров воды, что почти равно всему притоку в море Сырдарьи или трети Амударьи в 1961, еще сравнительно благополучном году). То есть целая река теряется. Земля Каракалпакии с самолетной высоты стала местами походить на Карелию, но это не благодатные озера, а те же болота... Как не хватает этой воды теряющему силу Аралу!

Стоя на вершине бархана, я смотрел на рисовые чеки и слушал Анатолия Лигая, старожила здешних мест. Ему 60, в Каракалпакии он родился и вырос, обошел пешком все Приаралье в качестве проводника научных экспедиций, избороздил на лодке обширную дельту Аму и морские заливы, охотился и рыбачил, лес выращивал в лесопитомнике. Когда же не стало ни зверя, ни рыбы, он встал на защиту Арала. В одиночку. Писал в Верховный Совет республики, в обком партии, в ЦК — о плохом состоянии каналов, о заболачивании пустыни, о несовершенных севооборотах, о дедовских методах полива с помощью кетменя и арыков и, как следствие, о неоправданных потерях воды, о трагедии усыхающего моря и собственных проектах его спасения. Везде от него отмахивались. Тогда он с помощью сыновей изготовил из старых, списанных, брошенных в металлолом сельскохозяйственных машин, тракторов, ирригационной техники целый парк механизмов: широкозахватный бульдозер... на базе комбайна, сеялку-каналокопатель для бахчевых культур, машину для прочистки каналов, универсальный трактор, способный работать, как насос, наждак, компрессор, сварочный аппарат, электростанцию и экскаватор... И взялся он самостоятельно, никому не доложившись, за очистку каналов, за отвод грунтовых вод в дренажные коллекторы, а потом задумал сделать из брошенных барж плотину-лоток, чтобы с ее помощью увлажнить часть пустыни, выращивать там камыш на корм скоту и рыбу для людей. Его едва не отдали под суд за самоуправство. Тогда Лигай обратился в сельхозотдел обкома партии за помощью. Попросил в аренду кусок высохшего морского дна, обещая вернуть его к жизни.

«Ты где живешь, в Америке, что ли?» — возмутился заведующий. Напугал Лигай чиновников, напугал. Впрочем, это было еще до того, как страну взбудоражило крепкое слово «перестройка»... Сейчас его сыновья на арендном подряде выращивают для совхоза овощи, он им помогает, но боль за Арал не отпускает его. На старенькой своей машине он по собственному почину объездил самые крупные рисосеющие районы Каракалпакии — Караузякский и Тахтакупырский, вдоль всех каналов проехал, у всех приемников сбросной воды побывал и поразился. В каждом хозяйстве оказались не обозначенные на картах рукотворные озера, сбросные коллекторы зарастали камышом, а вода просто уходила в пески. Все это он нанес на самодельную карту, а когда подсчитал общую площадь бесполезного водного зеркала, то ахнул: она оказалась почти равной площади Арала.

— Можно ли спасти море при таком уровне хозяйствования? — резонно спрашивал он.

Впервые мощные соле-пылевые выносы с высыхающего дна Арала зарегистрировала в 1975 году из космоса орбитальная станция «Салют-4». Они обрушивались на орошаемую зону Каракалпакии, достигали Хорезма и Ташаузской области, в зависимости от силы ветра уносились на полтысячи и более километров. Ученые подсчитали, что лишь один такой вынос способен перенести полтора миллиона тонн соленой пыли, а ежегодно до 75 миллионов тонн (по новейшим данным, до 100 миллионов). Это означает, что возникла реальная угроза самому существованию плодородных оазисов, а с дальнейшим усыханием моря она возрастет многократно. Это означает, что вместо моря мы получим новую пустыню Аралкумы (тогда она сольется с существующими Каракумами и Кызылкумами и станет соперничать с Сахарой), а нас все время пичкали сладенькой сказочкой, как осушенное дно Арала тоже превратится в цветущие хлопковые и рисовые плантации. Каким образом, если для существующих оазисов не хватает поливной воды? Значит, заведомо врали? Надеялись искупить вранье переброской северных рек? Не стану называть фамилию академика, придумавшего сказку, его точка зрения теперь иная. Уверен: если бы всенародно обсуждался проект полного истребления Амударьи и Сырдарьи на полив (жертвуя Аральским морем), вряд ли народы Средней Азии и Казахстана допустили бы его осуществление в нынешнем варианте. Но проект не обсуждался. Он рекламировался, причем рекламировался односторонне, в розовом свете...

— По сути дела,— рассуждал, шагая по дну моря, кандидат биологических наук Сапарбай Кабулов,— поставлен широкомасштабный эксперимент на выживаемость человека и природы в условиях своеобразной химической экспансии...

Вспомним, как это начиналось. При экстенсивном освоении огромных территорий спешно пускались в оборот и сильно засоленные земли (но ПЛАН, ПЛАН, ПЛАН), от которых заведомо нельзя было ждать высоких урожаев. Но хотелось... А потому во всеуслышание и обещалось. Как же выполнить обещанное? Пытались подхлестнуть урожайность колоссальным количеством минеральных удобрений (на гектар вносили до 600 килограммов, в двадцать раз больше нормы), пятнадцатикратные превышения распыляемых ядохимикатов и дефолиантов тоже не считались излишней щедростью. К тому же севообороты не соблюдались, сеяли каждый год хлопок по хлопку. По этим причинам неуклонно ухудшались качество хлопка и пищевые достоинства риса. Повсеместно увеличили (негласно) нормы полива, и реки перестали впадать в море. («Пусть Арал красиво умирает, он бесполезен»,— сказал тогда один из руководителей Минводхоза, П. Полад-заде, зам. министра.) Нашлись «смелые» экспериментаторы, которые обосновали (вопреки здравому смыслу, науке и вековому опыту) возможность вторичного использования поливной воды, идущей обычно на сброс. И началось стремительное вторичное засоление земель (для их промывки требовались все новые порции свежей воды, какие уж тут нормы?), чему способствовали и солевые выбросы со дна высыхающего моря — не получалось с красивым умиранием Арала.

Нашлись «гуманисты», разрешившие те же использованные поливные воды, с высоким содержанием солей, гербицидов и ядохимикатов, в них растворен-

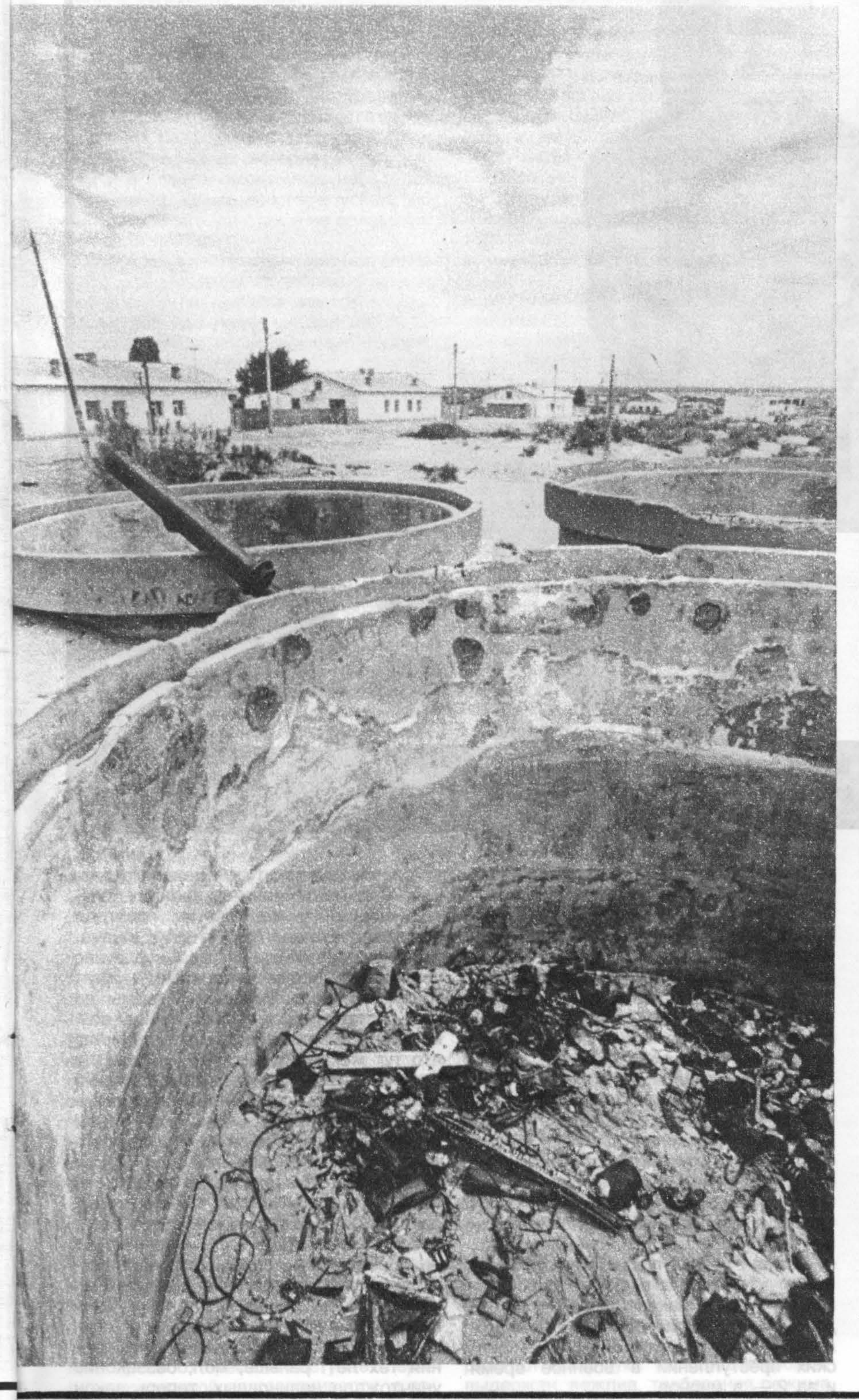
ных, спускать с полей не в дренажный коллектор, а непосредственно в реки (чтобы они были полноводнее, ведь воды-то братским народам в низовьях не хватает). Нашлись «экономисты», не пожелавшие тратить деньги (народные ведь, жалко) на очистку промышленных стоков. В результате вода рек Амударьи и особенно Сырдарьи в нижнем их течении стала походить на некую суспензию, в которой самым безобидным компонентом оказалась соль.

Впрочем, так ли она безобидна, если ее в литре содержится до трех граммов, если состоит она из сульфатов и ядовитых для большинства растений хлоридов? А для людей? Чай в такой воде завариваться отказывается. «Гуманисты» как-то упустили из виду, что в Каракалпакии и Кзыл-Ординской области других источников питьевой воды, кроме рек, практически нет. Десятки тысяч людей вынуждены пить отравленную воду. Первый секретарь Кзыл-Ординского обкома партии Е. Ауельбеков говорил:

— Для жителей нашей области Министерство здравоохранения решило сделать отступление от ГОСТа, утвердив «Временные нормы до 1990 года», по которым нам разрешается употреблять воду Сырдарьи. Как будто у нас пищеварение и желудки иные...

Каракалпакам повезло меньше. У них нет и временного разрешения на употребление отравленной амударьинской воды, приходится пить так — все равно выхода нет. Однако болеют при этом кзылординцы не меньше, чем каракалпаки. Уровень почечно-печеночных заболеваний в Приаралье в несколько раз выше, чем в целом по стране. Есть пункты, где детская смертность достигает ста человек на тысячу родившихся. Это страшно. Проблема воды обернулась социальными драмами, «красивое» умирание Арала приводит к глобальным изменениям климата, отравление рек — к гибели людей и деградации земель.

— Безнравственно губить реки, безнравственно убивать море,— говорил ученый Кабулов,— безнравственно говорить о его бесполезности, да и как можно оценить живую природу? Спасая море, мы спасаем себя. Кто может оценить потерю Арала? Никто.



Ах, уважаемый ученый, дорогой Саке, как вы ошибаетесь! Есть ведь такой человек, который знает точную цену Аралу, есть: это министр мелиорации и водного хозяйства СССР Н. Ф. Васильев. Несколько лет тому назад на одной из встреч с коллективом Минводхоза я спросил его:

— Николай Федорович, вы прекрасно знаете, что Аральское море мелеет, что реки до него не доходят и вся их вода разбирается на орошение, что исчезла рыба и тысячи рыбаков остались без работы, что в заповеднике на острове Барсакельмес гибнут куланы и сайгаки (животные пили морскую воду, но потом из-за обмеления концентрация солей в ней многократно повысилась — до 23 граммов на литр. «Огонек» писал об этом еще в 1985 году.— **Ю. Л.**). Как вы оцениваете потерю Арала?

— Очень просто, — хладнокровно ответил министр, — подсчитано, что море стоило девяносто миллионов...

Признаюсь, меня оглушили доступность и простота оценки бесценного. Я плохо слышал дальнейшие пояснения насчет миллиардных прибылей, которые приносит поливное земледелие сегодня. А завтра? Мне-то хотелось узнать, что будет завтра, если уже сегодня оазисы заносит солью Арала... Впрочем, оказалось, что министр несколько продешевил. Вот сотрудники института «Союзгипроводхоз», кандидаты всяческих наук В. С. Панфилов, А. А. Желобаев, В. В. Мясников в прошлогодней полемике (относительно поворота северных рек) с писателем С. Залыгиным выложили на стол кругленькую сумму за Арал — сто миллионов. Щедрые ребята, ничего не скажешь. Правда, в той же статье («Новый мир» № 7, 1987) они чистосердечно признались, что сумма эта в общем-то плевая, поскольку не дошедшая до моря вода приносит прибылей раз в сто больше... Но кто ответит, как оценить несостоявшуюся жизнь хотя бы одного ребенка? А может быть, он был бы гением? Как оценить трагедию целого народа — каракалпаков, вставших перед дилеммой: либо приспособиться к тихой химической войне, либо покинуть родину?

Синдром Арала — перерезанные вены рек. Синдром Арала — исчезающее море, вместо которого появляется рукотворная пустыня. И кладбища кораблей, и отравленные воды, и засыпанные песком дома, и безработные рыбаки — все это синдром Арала. Остров Муйнак в Каракалпакии давно стал материком. Железнодорожная станция под названием «Аральское море» в Казахстане оказалась далеко в пустыне, потому что Арал ушел от нее на сотню километров. Медики зарегистрировали в молоке каракалпакских и казахских матерей повышенную концентрацию соли. Это ли не синдром Арала?

Знаю, прекрасно знаю, что могут сказать мне «гуманисты» из Минводхоза. Что в 1950 году в регионах Средней Азии и Южного Казахстана орошалось 2,9 миллиона гектаров земли, а сейчас — 7,2 миллиона, что с них мы получаем сельскохозяйственной продукции более чем на 15 миллиардов рублей вместо прежних 3,8, что страна обрела хлопковую независимость... Да, 95 процентов всего хлопка и около 40 — всего риса страна получает отсюда. Но вот какой парадокс: 25 лет тому назад килограмм отборного риса стоил на рынке города Ходжейли в Каракалпакии 70 копеек, теперь же — около двух рублей. Справедливости ради скажу, что полки магазинов ломятся от пакетов с рисом, но его почему-то мало кто берет. Не тот рис.

Так стоит ли производить негодную продукцию? Не лучше ли сократить часть посевов риса, требующего колоссальных расходов воды, а освободившиеся земли занять менее влагоемкими культурами? Выращивать, например, корма, а на их основе развивать молочное и мясное животноводство (за все дни пребывания в Муйнаке я ни в одном магазине ни разу не видел в продаже ни мяса, ни молока, ни овощей. Как живут люди — загадка), а сэкономленную таким образом воду незамедлительно отправить в Арал...

Теперь о хлопковой независимости. В чем, собственно, ее суть? Может быть, в том, чтобы делать из хлопка больше масла, тканей, майонеза, денежной бумаги и т. п.? Или больше производить из него взрывчатых веществ? Кто бы мне это объяснил? Кто бы объяснил, почему нужно почти третью часть всего узбекского хлопка отправлять на экспорт (и не только в страны социалистического содружества, но и разным фирмам Франции, Японии, ФРГ, Италии)?

Упорно и целенаправленно (несмотря на возражения государственной экспертной комиссии) прокладывается по территории Хорезмской области и Туркмении новый Ташаузский канал, берущий начало у Тюямунского водохранилища. Длина его почти 200 километров, причем 145 из них, так называемая холостая часть, пройдет по глухим пескам, где нет ни населения, ни окультуренной земли. И вновь канал в песчаном русле, обещающем половинные потери воды на фильтрацию, гарантию пустынных болот и... реальную угрозу подтопления города-музея Хивы (согласно технической документации, сильное влияние канала на уровень грунтовых вод ощутится в тридцатикилометровой зоне, а до Хивы всего 12 километров). Просто диву даешься, до чего доходят упорные и щедрые люди за государственный счет.

А море между тем ждет помощи.

Летим над Аралом. Летим низко, и летчики показывают плоские песчаные острова, которых раньше не было. Обмелело море. Сквозь прозрачные его воды отчетливо просматривается дно, исчерченное странными параллельными полосами, уходящими к берегу. Может быть, это следы волочившихся рыбацких сетей? Не знаю. Смотрю вдаль, берегов не видно, синева неба плавно переходит в синеву моря, и вспыхивает в душе неясная детская надежда: море большое, как оно может совсем исчезнуть? Всматриваюсь в глубины Арала: не блеснет ли чешуей рыба? Нет, ничего живого не видно, кроме водорослей: ни чаек над волнами, ни уток. Пусто в водах, пусто над водами. Отчего же поет, не умолкает струна надежды?

Я знаю отчего. Прошлой осенью раскрылись наконец глухие плотины на Сырдарье и Амударье, реки снова стали втекать в море. Сила их, конечно, не та, но все же Амударья отдала Аралу десять кубокилометров воды, а в нынешнем году предполагается сбросить больше. Уровень воды в некоторых заливах поднялся сразу на полметра, а в дельте Сырдарьи бригада рыбаков впервые за 12 лет вышла на лов. Представьте, были уловы, пусть скромные, но были. Попалась даже азовская камбала, выпущенная для акклиматизации в Арал много лет тому назад в районе острова Барсакельмес. Понятно, что это первая ласточка, которая, говорят, погоды не делает. Будем об этом помнить. Но не забудем и другое. Мы не ждали милостей от природы и знаем, к чему это привело. Теперь природа ждет милостей от нас. Так будем же милосердны, вернем жизнь Аралу!

Георгий РОЖНОВ,
заместитель начальника исправительно-трудовой колонии, подполковник внутренней службы

ЗАКОН СУРОВ...



НЕСЛЫШНО, В СПЕЦИАЛЬНО НА ТО ОБОРУДОВАННОЙ КАМЕРЕ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА ЗВУЧИТ ВЫСТРЕЛ. ВОЛЕЙ СУДА ОБОРВАНА ЕЩЕ ОДНА ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ.

Но такой финал преступных деяний сейчас редкость. Будь эта страшная статистика гласной, мы легко убедились бы в этом. Можно сказать, что наш суд стал гуманнее, я скажу иначе — стал осторожнее. Даже за кровь леденящие злодейства предпочитают наказывать пятнадцатью годами лишения свободы: верная гарантия, что Верховный суд не вернет дело на доследование или не изменит приговор. Страхуют и себя, и следователей. Чутко наше правосудие и к общественному мнению. Стоит ему ожесточиться, и приговоры становятся строже. Громче зазвучат слова о доброте и милосердии — Фемида учтет и это.

Летом восемьдесят четвертого года в Петропавловске-Камчатском молодой матрос Коннов Валерий Маратович неумело, а потому особенно жестоко убил сразу двоих — хозяйку квартиры и ее взрослого сына. Из-за денег и золота. Город негодовал, преступника взяли скоро, суд приговорил Коннова к расстрелу. Верховный суд дело вернул: «Доследовать!» Второй процесс — и снова «к исключительной мере». И опять: «Доследовать!» В восемьдесят седьмом году, зимой, спустя три с лишним года после убийства, третий состав суда по тому же делу дрогнул. Вина Коннову вменялась прежняя, а вот меру наказания изменили — пятнадцать лет лишения свободы.

Это, конечно, не правило — исключение. Пока Коннов три долгих года маялся в ожидании развязки, двоих его соседей по камерам смертников поставили лицом к стене. Время от времени, повторяю, реже, но нам напоминают, что смертная казнь не декларация, не пугало — факт.

Но даже эти редкие выстрелы, хотя и сообщают о них всего одной строчкой: «Приговор приведен в исполнение»,— из-за тюремных стен доносятся до слуха нашего общества. Слух этот за последние год-два стал острее, а чувства, связанные с ним, тревожнее: «Нужна ли нам вообще такая мера наказания, как смертная казнь?» Никогда в обозримом прошлом, по-моему, такой вопрос нас не посещал. Значит, хоть какая-то толика наших сограждан стала сегодня и добрее, и милосерднее, ей небезразлично, что в мирное время здорового и чаще всего молодого человека лишают жизни. За его не прощенную законом вину.

Речь, как видим, сегодня идет уже не о том, надо ли казнить того или иного преступника, а о правомерности смертной казни вообще. Остроту этому спору прибавит и то, что каждому, внимательно прочитавшему Уголовный кодекс, смертная казнь покажется уже не исключительной, а весьма распространенной мерой наказания: и в самом деле, она предусмотрена за 7 общеуголовных, 11 государственных, 16 воинских преступлений в военное время и за 2 — в мирное.

Какая же тут исключительность?

А если кодекс читать еще внимательнее, с комментариями к каждой «тяжелой» статье, то мы отметим: расстрел начал венчать многие статьи УК в начале 60-х годов, именно тогда, когда нас уверяли, что человек человеку — друг, товарищ и брат. Именно тогда мы до того азартно ухватились за дубину возмездия для валютчиков и взяточников, что тут же ее и перегнули (а когда не перегибали?). Только что введенный закон о смертной казни за валютные махинации вдруг да и возымел в одном памятном случае обратную силу, чего не случалось во веки веков.

Что же это было тогда? Что двигало нашими законодателями, только что избавившими народ от чудовищных беззаконий сталинщины? Ведь и десяти лет не прошло, как стихла не прекращавшаяся почти четверть века оружейная трескотня, выкосившая миллионы безвинных. Почему не терзали наш слух новые выстрелы? Вспомним разъяснения тех лет: раньше, мол, беззаконие уничтожало невиновных, теперь закон справедливо карает виноватых. Разве

не заботимся мы тем самым о безопасности державы, о ее экономической мощи, о чести и достоинстве своих граждан?

Цель, как видим, высокая. А средство? Все то же — страх.

Казалось бы, парадокс: общество, и без того уставшее от страха в мрачные времена, в благовестные шестидесятые снова дружно хлопает в ладоши в залах судов, которые карают смертью взяточников, валютчиков, насильников. В этих аплодисментах, думается, было не столько восторга от суровости новых законов, сколько искреннего народного гнева: жулье роскошествует при нашей повальной беднотище, при наших коммуналках, при грошовой зарплате, при хлебе, который уже повезли из-за морей! И все ведь это они, разные там рокотовы и файбишенко,— к стенке их.

Мы уже знаем теперь, каков был результат тех расстрелов, которые так и хочется назвать благотворительными. Годы застоя изумили, все еще изумляют, еще долго будут изумлять нас размахом хищений, коррупции, взяток. Трудно избавиться от назойливой мысли: либо при Хрущеве расстреливали не тех, либо при Брежневе жулики уверовали в загробную жизнь!

Впрочем, неверие в то, что смертные приговоры у нас на самом деле приводятся в исполнение, не так уж редко. Легенд о выстрелах холостыми пулями и последующей ссылке на урановые рудники я наслушался предостаточно. При этом, разумеется, называли и «очевидцев» подобных историй, и тех, кто сам и в камере смертников насиделся и лицом к стене постоять успел, но выстрела в затылок так и не дождался: попугали, и будет.

Когда-то властелины действительно устраивали изредка подобные эффектные спектакли: вот уже все готово для казни, вот уже народ затаил дыхание, чтобы получше услышать удар топора, но тут галопом мчится курьер с помилованием от государя или сам монарх милостиво машет платочком, останавливая палача. И смерть отступает.

Все эти святочные рассказы либо из древней истории, либо из романов о днях, давно минувших. Сегодня, если уж последнее ходатайство осужденного о помиловании отклонено высшим органом государственной власти, никаких конвертов вдогонку не шлют. Приговор в этом случае будет исполнен незамедлительно. Выстрел у стены прозвучит. И всегда это страшно, всегда тяжело даже для тех, кого эта печальная служебная необходимость задевает хотя бы косвенно. И, поверьте, первыми, кто весть об отмене смертной казни воспринял бы с душевным облегчением, были бы именно они — работники следственных изоляторов. Признаюсь теперь: обходя тюремные коридоры, я старался как можно тише ступать в том из них, где заключены смертники. Особенно в конце дня, когда чувствовал, что запас сострадания уже полностью растрачен, что ни говорить, ни слушать, ни улыбаться уже невмоготу. А им, смертникам, нужно только это: просто слово, просто внимание, просто улыбка. Не можешь — ступай на носках, проходи мимо. Но не тут-то было! «Гражданин замполит! Подойдите! Я же слышу!» — доносится из-за пудовой двери.

Конечно, это Костя Иванов. Нашему знакомству уже полтора года. Полтора года Костя ждет, когда его убьют. Я пристрастил его к чтению, и то, что это удалось, поразило нас обоих. Костя уже знает Чехова, прочел «Теркина», сейчас вплился в Шолохова, в «Тихий Дон». В своей одиночке он громко, со слезой, жалеет Григория, жалеет Аксинью, жалеет Подтелкова и офицеров, порубанных под Глубокой. Хоть полчаса, да надо пожалеть их с ним вместе — так Косте легче. И не только ему — то у одного, то у другого смертника время от времени наступает период неудержимой разговорчивости, а собеседника нет. На прогулку их не водят, в баню — поодиночке. Круглые сутки — четыре стены и тишина. И думы. Ясно, что тому же Косте очень трудно избавиться от каждодневных расчетов, когда же именно его убьют. Верховный суд приговор оставил в силе, первая «помиловка» в Президиум Верховного Совета России — отказ. Теперь у Иванова последняя надежда — на самого Громыко.

— Дело у меня глухое,— часто говорит Костя.— Убьют. И правильно сделают.— И немного помолчав:— Интересно, до лета меня не убьют?

Я помню день, когда его привезли к нам сразу после ареста. Прочитал протокол задержания — мерзкая история, дикая. Иванов — лицо без определенных занятий, без определенного места жительства, пьяница и браконьер — уложил дуплетом рыбинспектора. Там и штраф-то грозил всего ничего, и свидетелей было полно, и рыбинспектор спокойный мужик был — с какой такой стати хватать ружье и убивать?

В камере страх вполз в Иванова постепенно. После приговора облсуда он еще хорохорился, доводил контролеров до белого каления и при моем появлении демонстративно зевал. Определение Верховного суда, казалось, тоже его не очень встревожило. А вот время — недели, месяцы, год в одиночке — дело свое сделало. Не знаю, может быть, и чтение тут повлияло, и наши с ним разговоры — другой человек ждал сейчас решения, жить ему или не жить.

Однажды он мне сказал:

— Вы не смейтесь, я только здесь, в тюрьме, человеком стал. Вся жизнь — одна сплошная пьянка. Я ведь только здесь целый год и трезвый! Первые книги в тюрьме прочитал. Если не убьют — в зоне буду вкалывать по-черному, каждый месяц — перевод семье убитого. Господи, как я буду вкалывать, как пахать!

За Ивановым пришли осенью, когда он читал «Судьбу человека».

Все думаю: какие чувства вызовет мой рассказ? Видимо, жалость: что же это за жизнь такая окаянная была у парня, что все человеческое проснулось в нем только в тюрьме? Будут, наверное, сомнения — кому какая польза от его смерти? Возможно, кто-то поверит — сохранили бы Иванову жизнь, и он оправдал бы такую милость.

Я тоже маялся вопросом: искренним ли было его раскаяние? Ведь перемены происходили с осужденным тогда, когда он со дня на день дожидался решения своей судьбы — быть или не быть? А если б помиловали, какие чувства, какие мысли овладели бы им тогда?

Тех, кого этот вопрос коробит подозрительностью, познакомлю с Шахназаровым, тоже убийцей. Он постарше Кости, крепче характером, жизнь потрепала его основательно. Даже в наших привычных ко всему стенах Шахназаров произвел сильное впечатление: по обвинению в убийстве его арестовали в колонии усиленного режима, где он отбывал наказание тоже за убийство.

Года два назад Шахназаров в ссоре зарезал свою любовницу, тело которой потом пытался сжечь. Мотивы были корыстные — деньги. Облсуд не колебался — к смертной казни. Верховный суд не согласился и определил убийце 15 лет лишения свободы.

И вот теперь, через два года отсидки, Шахназаров убил прапорщика, который засек его с крупной суммой денег. Рассказывали, что в зоне Шахназаров вел себя нагло, бездельничал, среди осужденных зарабатывал себе авторитет рассказами о муках, которые претерпел в камере смертников.

После второго преступления в Шахназарова вселился не страх — ужас. Он заискивал и подхалимничал перед каждым, кто подходил к его камере,— от начальника до раздатчика пищи. Характеристику для суда Шахназаров заработал отменную: «Дисциплинирован, выдержан, вежлив, требования режима соблюдает». Но суду, как говорится, все было ясно: убийца, отбывая наказание в колонии, снова убивает, причем должностное лицо. К смертной казни! Из машины Шахназарова конвой выносил на руках: в прострацию он впал прямо в зале суда, когда после объявления приговора на его руках защелкнули наручники. Все время, пока дело в кассационном порядке рассматривал Верховный суд, Шахназаров просидел без единого замечания. Разговаривать с ним было просто и неинтересно: «Так точно!», «Слушаюсь!».

Когда пришло определение, объявлять его выпало мне. Зная, чем подчас кончаются подобные чтения, я, кроме положенных в таких случаях офицеров и контролеров, пригласил в кабинет и фельдшера с его саквояжем. Еще по дороге из камеры Шахназаров почувствовал необычность происходящего. Шахназарова ввели. Я встал, да еще с красной папкой в руках. Это его едва не доконало. Глаза бессмысленно остановились, было слышно, как звенит, мелко дрожа, цепочка наручников на его руках.

Судейские документы, даже содержащие весьма краткое решение, всегда пространны и подробны. До завершающей фразы я добирался довольно долго, и Шахназаров был совсем плох, даже пришлось его поддерживать.

Но вот, наконец:

— Приговор отменить, дело направить на доследование.

Фельдшера я пригласил не напрасно.

Встретил я счастливчика часа через два, когда с него сняли полосатую одежду и перевели в общую камеру. Утомленно развалясь на лучшей койке, он потягивал сигарету и громко что-то рассказывал, хохоча. Заметив приоткрытый «глазок», рывком привстал и гаркнул что есть мочи:

— Ты! Мусор! Во тебе!

Навстречу мне протянулся кукиш.

Впрочем, хватит этих живописаний. В дальнейшем Шахназаров выкидывал и не такие коленца. Тут возникает вопрос: убийцу не помиловали, не заменили расстрел лишением свободы, а он уже сбросил с себя маску раскаявшегося и распоясался пуще прежнего. С чего бы это?

Все просто. Так уж получается по ряду наблюдений за сходными ситуациями, что повторное слушание одного и того же дела в том же суде редко подтверждает первый приговор. Потому что если на стадии предварительного следствия хоть в одном эпизоде сработали поспешно, халтурно и, следовательно, бездоказательно — сомнение Верховного суда обеспечено. Тогда еще одна отмена? Кого ж из судей это красит?

Можно уже догадаться, что второй приговор убийце-рецидивисту был ровно таким, какой у него уже имелся,— 15 лет лишения свободы. А поскольку складывать сроки наказания у нас нельзя, все наказание за погибшего прапорщика состояло лишь в том, что отбытые два года Шахназарову не засчитали, а начали срок сначала.

Пока бандит ждал вступления приговора в законную силу, он каждому из нас сполна выговорил все те гадости, которые висели у него на языке долгие месяцы постыдной для него теперь покорности. Начальнику отряда, к которому вскоре попал Шахназаров, я могу только посочувствовать — воспитывать этого нелюдя бесполезно.

Понимаю, дурно, грешно примерять поведение Шахназарова на покойного ныне Иванова. Вдруг и у того прошел, забылся бы и страх, и все прочитанное, и все переговоренное со мной?

Пока будет существовать смертная казнь — будут и эти гадания. Опытные следователи и судьи могут исчерпывающе доказать вину убийцы. Но ни областной, ни Верховный суд, ни даже пленум этого суда не смогут так же доказательно и убедительно объяснить, почему за похожее злодейство одному преступнику жизнь даруется, а другому — нет? С учетом личности, дескать, принято решение? А где критерии определения плюсов и минусов этой личности?

Когда меня спрашивают, почему я все же верил Иванову, я легонько стучу по своему сердцу — оно, мол, подсказывает! Доказательство? Для меня — да. Но не для весов же Фемиды!

Смертная казнь еще, увы, существует. Поэтому моя первая просьба к следователям — никаких натяжек, никакой слепоты, никакого непрофессионализма! Дело того же Коннова тянулось три с лишним года, выдержало три судебных процесса, породило два смертных приговора и, наконец, завершилось лишением свободы отнюдь не потому, что к преступнику проявили гуманность. А потому лишь, что халтурно и торопливо шли по горячим следам преступления, подпали под гипноз «очевидности» каждой детали, каждой улики и помчались дальше, а надо было остановиться, оглянуться. Потом три раза пришлось возвращаться — и без толку!

Пусть Коннов трижды виноват, но я видел, как он отсиживал эти три с половиной года, что творилось с парнем, когда дважды его приводили в камеру смертников и дважды из нее выводили. Будь моя воля, я бы этим пережитым кошмаром и счел бы его вину искупленной.

Глупо и лицемерно вести толки о гуманизации процедуры смертной казни (а такие слышатся), но смягчить режим в камерах смертников нужно непременно. На протяжении минимум двух, а то и более лет лишать человека прогулок — неразумно и просто жестоко. Меньше хлопот режимной службе — только и всего. Лишать смертников радиоточки, которая есть в любой другой камере,— еще одна перестраховка, еще одна жестокость. А наглухо задраивать окна — это к чему? Кто смотрел фильм «Высшая мера», заметил, в каких только ракурсах не показал нам это окно с «козырьком» до потолка режиссер Герц Франк.

Все эти предложения, естественно, имеют смысл, если смертная казнь будет сохранена. Скорее всего так и случится — думаю, правовая реформа подтвердит это мое предположение. На сегодняшнем этапе развития нашего общества отказываться от этой меры наказания нереально. Во-первых, мы лишь недавно обнаружили существование в стране организованной преступности. Кто знает, какие злодеяния вскроются, когда мы докопаемся до ее глубин и истоков? И тех, уже известных, достаточно, чтобы повременить с милосердием к «крестным отцам» нашей доморощенной мафии. За подземные тюрьмы, за средневековые пытки и убийства, за повальное разграбление державы дать этой преступной дьявольщине шанс на жизнь?! Нет, нельзя. Такие изощренные преступления, такая «мокруха» и такие барыши не снились ни Мишке Япончику, ни «Черной кошке» ни всей разом уголовщине, расползшейся по стране после известной печальной памятью амнистии пятьдесят третьего года.

Во-вторых, нужно считаться и с общественным мнением — даже приблизительные опросы говорят о том, что противников отмены смертной казни сегодня или завтра большинство.

Бесспорно в этих дискуссиях одно — смертная казнь должна стать действительно исключительной мерой наказания. Кто возражал, когда поставили к стенке упыря из Белоруссии? Ростовских «братьев-разбойников»? «Эмира» Бухарского? Шпиона одной иностранной державы? Никто.

...А Костю Иванова жалко. Мог бы жить.

●

Начало см. на стр. 6.

НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ?..

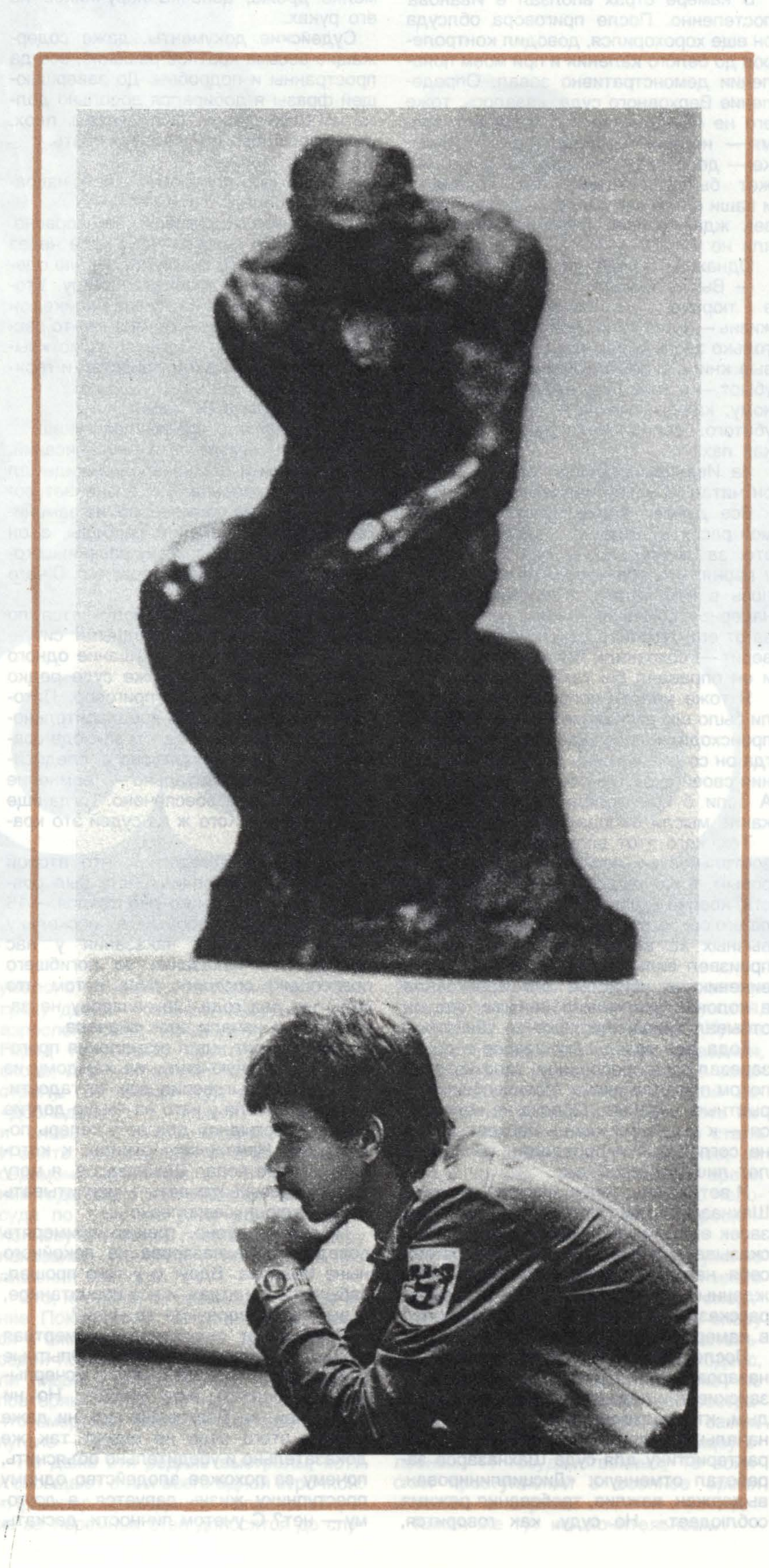
ститута социологии АН СССР в Москве), доктор философских наук Фирсов, кандидат философских наук Алексеев и много других, были вынуждены уйти из ИСЭП АН в разные институты несоциологического профиля, а то и просто на производство. Такое положение сохраняется и по сей день. Сигов по-прежнему на посту директора института, и подчиненным ему социологам работается очень нелегко.

В. В. Нечто подобное, кажется, пережила и московская социологическая школа с приходом в ИСИ профессора Руткевича.

Т. З. Да, этот человек, еще работая в Свердловске, успел крепко попортить отношения с наиболее творческой и талантливой частью московских социологов. Став директором, он быстро начал сводить счеты с теми, кого не мог назвать «своими», преданными людьми, и постепенно выжил их из института. А ведь воспроизводство кадров в науке носит непрерывный характер. Чем ярче и талантливей коллектив, тем более ярких и талантливых людей он привлекает и воспитывает, тем выше поднимается его уровень. И, к сожалению, наоборот.

В. В. Как большинство ученых, вы преданы той науке, которую развиваете. Мой вопрос, наверное, будет вам неприятен. И все же не кажется ли вам, что социология в нашей стране пока является не наукой, а только ее подобием, грубой вульгаризацией, где научный подход подменяется политическим, идеологическим, каким угодно? Академик Федосеев десятилетиями призывал коллег вести «решительную борьбу с догматизмом и начетничеством, против отрыва от жизни». И все это время чудесным образом перекраивал свои доклады и книги, приспосабливаясь к меняющейся «злобе дня». Конъюнктурщина вознаграждалась почетными званиями, должностями, высоким лауреатством, правом поучать всех и вся, жестко ставить на место инакомыслящих.

Т. З. В известной мере вы правы, но хотела бы резко возразить против любой попытки выплеснуть с водой и ребенка. В советском обществоведении на протяжении всех лет его существования и развития работали два типа ученых. С одной стороны, тот, о котором вы говорите. С другой же — тип принципиального и квалифицированного ученого, в совершенстве владеющего современной исследовательской техникой, умеющего выявлять и анализировать подлинные закономерности развития и не желающего ни на йоту поступаться научной совестью при формулировке своих выводов. Назову лишь нескольких: философы Лосев и Мамардашвили, литературоведы Бахтин и Лотман, социологи Левада и Алексеев, экономисты Ханин и Селюнин... Их работы почти не издавались, деятельность протекала как бы в тени. Они слыли опасными иноверцами. Им требовалось немалое гражданское мужество, чтобы сохранить научное и человеческое лицо... И они его сохранили, так что теперь мы слышим их голос, может быть, громче, чем остальные. Сложность заключается в том, что крупному ученому нужны время и условия для того, чтобы сформироваться. А как сформироваться, если тебя бьют по голове за каждую высказанную мысль, лишают права преподавать, воспитывать дипломников, аспирантов? Как много можно назвать социологов, у которых к середине 60-х уже были научные школы, а сейчас они на периферии науки, работают почти в одиночку и практически лишены возможности проявить себя в полную силу.



ГОЛОС «СНИЗУ»

В. В. Я понимаю: социологам требуется поддержка. Но какая? Тут и там социологические лаборатории создаются под крылом местного руководства — этого вы хотите? Но покровительство даром не дается, его надо оплачивать преданностью и послушанием. Кому нужна «карманная» социология, тот и пригреет, и обласкает, но научных открытий не будет. Кроме одного, от науки далекого: кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому к созданию Всесоюзного центра изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам при ВЦСПС и Госкомтруде СССР под вашим, Татьяна Ивановна, руководством я отношусь, скажем так, осторожно.

Т. З. Отчего же?

В. В. Ну, как вам сказать... Жизнь приучила не доверять учрежденческим новообразованиям. Чтобы накормить страну, нужен, как выяснилось, вовсе не Агропром, а «архангельский мужик». Возможно, чтобы поднять социологию и всерьез изучать общественное мнение, тоже требуется не научный центр, а какая-то совсем другая, более свободная общественная организация.

Т. З. Думаю, что оба эти типа организаций нужны и не должны противостоять друг другу. Но одно дело — журавль в облаках, а другое — синица в руках. В практической жизни всем нам приходится стоять на реальной почве. В современном же мире изучение общественного мнения — это своего рода индустрия, нуждающаяся не только в квалифицированных специалистах, но и в зданиях, быстро действующих компьютерах, надежных коммуникациях связи, мощной множительной технике и т. д. Вряд ли имеет смысл дожидаться, когда все это появится у свободных общественных организаций. А если появится, что ж, прекрасно. Они получат возможность проверить объективность наших исследований. А кое в чем и перенять накопленный опыт. Это во-первых. Во-вторых, в условиях гласности много легче, чем прежде, и выяснить, и обнародовать мнения людей по самым острым вопросам. В-третьих, Центр представляет собой не только информационное, но и научно-исследовательское учреждение. Проводимые его отделами исследования призваны, с одной стороны, обеспечить надежность получаемой информации, а с другой — быть самостоятельным вкладом в развитие социологии. Наш коллектив ориентирован на использование всего мирового прогрессивного опыта в области изучения общественного мнения и, надеюсь, со временем овладеет этим искусством.

В. В. А вы действительно уверены в том, что сегодня в нашей стране нужно изучать общественное мнение? Во-первых, как пишет ваш заместитель Грушин, общественного мнения по большинству вопросов у нас пока еще просто нет. А во-вторых, есть ли хоть какие-то гарантии того, что в ваших отчетах отразится именно мнение общества, а не результаты ваших манипуляций — сперва с анкетами, а потом с цифрами? Кто сможет проверить ваши данные и, если надо, их опровергнуть?

Т. З. Вы поставили сразу несколько очень важных вопросов. Позвольте ответить на них последовательно. Первый вопрос: нужно ли изучать общественное мнение в нашей стране? Убеждена: совершенно необходимо. Без этого не может существовать механизм демократического правления. Вспомните, сколько важных законов и постановлений, прямо затрагивающих судьбу миллионов, принято за последние годы: законы о государственном

предприятии, о кооперации, об индивидуальной трудовой деятельности... На подходе не менее важные решения о новом порядке пенсионного обеспечения, об упорядочении розничных цен на потребительские товары и услуги, о формах помощи молодым семьям, о порядке трудоустройства лиц, увольняемых в связи с ликвидацией соответствующих рабочих и должностных мест... До каких же пор мы будем сначала принимать законы без совета с народом, а потом находить в них ошибки и пытаться их исправлять? Чтобы принять правильное решение, политики должны знать не только общее, или «среднее», мнение народа, но и мнения разных общественных групп — демографических, национальных, территориальных, профессионально-должностных и других. Ведь их мнения часто различны, иногда противоположны, причем за ними чаще всего стоят интересы. А с интересами надо считаться, так как если их нарушать, то решения не будут выполняться. Это только одна причина важности изучения общественного мнения, условно говоря, управленческая. А есть и другие. Например, через мнения населения можно быстрей, чем другими методами, выяснить «болевые точки» общества или систему ожиданий населения применительно к перестройке.

В. В. Допустим, что изучать общественное мнение полезно. Иначе, наверное, прагматичные американцы, немцы, французы да и чехи, поляки, венгры не стали бы тратить на это деньги. Но в странах с большой демократической традицией общественное мнение есть, оно формируется, живет, меняется. А есть ли оно у нас? Без воздуха гласности оно ведь существовать не могло, а гласности всего три года. Достаточно ли, чтобы возникло общественное мнение по большинству актуальных вопросов?

Т. З. Конечно, нет. Чтобы сформировалось квалифицированное общественное мнение, чуткое к новым фактам и убедительным аргументам и в то же время не поддающееся никакой демагогии, нужны десятилетия интенсивной социальной и политической жизни. Мы находимся в самом начале этого важного процесса — возникновения «гражданского общества» с развитым общественным мнением. Так что же, прикажете ожидать 20—30 лет и лишь затем робко проверять, есть общественное мнение или пока еще нет? Мы занимаем другую позицию. Считаем, что в переломный период, каким является перестройка, общественное развитие ускоряется. И готовы тому содействовать. Конечно, главная задача ВЦИОМ — это изучение общественного мнения. Но не менее важно и участие в формировании этого мнения, некоторое подстегивание, что ли, этого процесса. Ведь результаты наших исследований будут публиковаться, обсуждаться на «круглых столах» радио и телевидения. И зрители, слушатели, читатели невольно будут вовлекаться в обсуждение, формировать собственное мнение. Значит, наше общественное сознание будет быстрей социализироваться и политизироваться, становиться более зрелым. А в этом ведь одна из гарантий необратимости перестройки.

В. В. Допустим, вы правы. А как насчет гарантии точности отражения мнений?

Т. З. Это действительно сложный вопрос. Социологическое измерение не проще, а намного сложней физического. Одно дело — измерить температуру воздуха, а другое — настроение народа. В целом это вопрос, с одной стороны, добросовестности, а с другой — квалификации ученых. Добросовестность проявляется в искреннем стремлении выяснить фактическую картину, а не ту, которая была бы мила начальству. Уже сама эта установка в нашем обществе требует определенного мужества, за ее реализацию надо бороться не только с кем-то, но и с самим собой. Ведь в большинстве из нас силен конформизм. Но если исследовательский коллектив состоит из единомышленников и к тому же включает таких людей, как Левада, Грушин, Рутгайзер и другие, то он вряд ли позволит себе и своему руководителю поступиться научной истиной.

Другое дело — квалификация. Здесь нам учиться и учиться, ведь опыта изучения общественного мнения в нашей стране практически нет. Как отобрать проблемы, для решения которых особо важно мнение народа? Как составить вопросы анкеты, чтобы их одинаково хорошо понимали колхозник и композитор, продавец и конструктор, пенсионер и студент? И чтобы в формулировке вопроса потенциально не содержался ответ, чтобы она не оказывала давления на человека... Как построить тот «веер ответов», из которого человек должен будет выбрать, отражающий его мнение? Разнообразие мнений огромно, а мы должны свести его к каким-нибудь семи-восьми ответам. Тут легко ошибиться, пропустить важное. А ведь это только начало. Анкеты надо перевести на языки тех народов и наций, которые попадают в опрос, причем так, чтобы не изменить даже оттенка вопросов. Надо построить такую выборку из 3—5 тысяч человек, которая, как в капле воды, отражала бы наше общество. А это ох какое сложное дело! Далее, надо подобрать более тысячи интервьюеров и обучить их секретам работы, а затем проконтролировать их деятельность. Потом закодировать информацию, передать ее с мест в Москву, обработать на ЭВМ по соответствующим программам и лишь после этого сказать, что думает население страны по тому или иному вопросу. Ошибки могут появиться на любом из этих этапов. Что ж, будем учиться вылавливать их и устранять. Вообще же «волков бояться — в лес не ходить», а нам войти в этот лес очень нужно.

В. В. А проверка ваших данных со стороны?

Т. З. В принципе она, конечно, возможна. Это сопоставление с результатами, получаемыми другими исследователями. Если они в основном совпадут, то скорей всего правы оба. Если же резко разойдутся, то потребуется тщательно сопоставить методики, в том числе методы построения выборки,— а не в этом ли причина различий. В случае, если выборка в принципе сходная, есть основание полагать, что один из полученных результатов ошибочен. Проверить это можно в повторных исследованиях, которые мы будем проводить регулярно. Можно твердо утверждать лишь одно: чем больше будет в нашей стране профессионально работающих центров изучения общественного мнения, чем интенсивнее они будут конкурировать за доверие населения, тем надежнее будет наше знание о том, что в действительности думают люди.

В. В. А всегда ли можно доверять голосам «снизу»? Вот я писал однажды, как чуть было не расправились с мастером на металлургическом заводе. Принципиальный был человек, но — через край, до беспощадности. Рабочие недолюбливали его, начальство вообще не выносило. А тут он прозевал плавку, и она ушла «в порог». «В порог» — это мимо ковша, впустую. Тридцать тонн первосортной стали. Директор тотчас — приказ: от должности мастера освободить, с завода уволить. Но, видно, все же решил подстраховаться. Вызвал социолога, поставил задачу: надо дать объективную характеристику увольняемого. Провести опрос рабочих! Расчет был обыкновенный: рассчитаются с мастером за его строптивый нрав и жесткий характер. Но вышло иначе. Стеной стали на защиту! Люди поняли, что все давно предрешено, а с ними лишь играют в демократию. И не позволили директору манипулировать общественным мнением. Но ведь могло бы быть, да и бывает иначе. Всегда ли «глас народа — глас божий»?

Т. З. Случай, конечно, интересный. Действительно, в какой степени можно доверять ответам людей? Ведь люди могут быть и неискренни, и некомпетентны, и не информированны. Тут, чтобы не ошибиться, надо тщательно изучить и учесть ситуацию опроса, учитывать не только само мнение, но и его обоснование, аргументацию. Опытный интервьюер всегда фиксирует неискренность или замкнутость респондента, его нежелание отвечать на вопросы.

В. В. Центр располагает работниками, отвечающими высоким научным требованиям?

Т. З. Наш коллектив состоит из ученых, обладающих достаточно высокой квалификацией в своей области. Есть специалисты по общественному сознанию, по проблемам труда, благосостояния народа, демографическому развитию, методам социологических исследований, обработке информации на ЭВМ и т. п. Беда заключается в том, что, по сути, никто из нас не является специалистом в области изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам. Одни имеют достаточный опыт исследований общественного мнения, но, скажем, в области культуры или политики. Другие — профессионально изучали социально-экономические проблемы, но «как таковые», а не общественное мнение о них. Поскольку нам предстоит развернуть исследования нового типа, которые прежде не проводились, найти «готовые» кадры очень трудно. Всем сотрудникам Центра, и мне в том числе, предстоит учиться, учиться, учиться... В стране вообще мало квалифицированных социологов, слишком долго душили эту науку.

Нам по штату положено восемьдесят сотрудников в Москве и сто в двадцати пяти региональных отделениях, размещаемых в крупных городах страны. И еще постоянная сеть внештатных интервьюеров — полторы-две тысячи человек. Обучить этих людей простейшим навыкам опроса несложно. Найти же специалистов, способных вести исследования на должном научном уровне, труднее. За восемь месяцев мы приняли на работу чуть более пятидесяти человек. Постепенно заполним и остальные вакансии. Кандидаты на большую часть их подобраны. Но, повторяю, всем нам придется учиться, и в Москве, и на периферии.

В. В. Наверное, социология могла бы стать одним из активных помощников перестройки. Какие запросы времени она, как вам кажется, способна удовлетворить уже сегодня, а какие пока нет?

Т. З. Ну, во-первых, приятно, что социологов становится больше. Советская социологическая ассоциация объединяет около шести тысяч индивидуальных и почти полторы тысячи коллективных членов. Общее же число социологов в стране составляет, по нашим оценкам, десять — пятнадцать тысяч (при расчетной потребности — по нормативам развитых стран — 65—70 тысяч). Социологические службы в промышленности и других отраслях народного хозяйства насчитывают три — четыре тысячи человек.

В. В. Не знаю, как вас, а меня не слишком радуют эти легионы.

Т. З. Почему?

В. В. Много всяких «доморощенных» исследователей, увлеченных модным поветрием. Тут и там возникают «социологические лаборатории», в которых наука и не ночевала. Особенно на предприятиях.

Т. З. Честно говоря, дилетантов и халтурщиков пока хватает во всех сферах деятельности. Но я говорила как раз о профессионалах. По специальности «прикладная социология» ежегодно защищаются пятнадцать — двадцать докторских и до пятидесяти кандидатских диссертаций. Сложился и успешно работает целый ряд крупных научных коллективов социологического профиля. Так что советская социология располагает не столь уж малым потенциалом, хотя, надо признать, она намного слабее, чем в Польше, Венгрии, развитых капиталистических странах. Ну сравните: у нас в стране выходит один-единственный социологический журнал, а в Штатах только одна социологическая ассоциация издает семь журналов, вообще же их — несколько десятков. Еще сравнение: более двухсот социологических факультетов США выпускают ежегодно шесть тысяч специалистов. Основами же социологических знаний овладевают девяносто тысяч американцев. А у нас первый выпуск профессиональных социологов состоится только в следующем году. Двадцать пять человек даст Московский университет, двадцать пять — Ленинградский. Это будут первые пятьдесят выпускников с дипломами, где записано: специальность — социология.

Да, профессиональный уровень многих социологических исследований пока остается низким. Инерция лакировки действительности сильно дает о себе знать. Между тем органам управления необходима полная, точная и правдивая информация о социальных, экономических и политических процессах, интересах и поведении общественных групп. Необходима тщательная разработка проблем социальной политики партии, четкое определение ее целей. Не менее важно обеспечить управление перестройкой надежной обратной связью. Ведь принятие решения — это отнюдь не последний, а скорее лишь первый шаг на пути преобразований. Вот почему нужен постоянный социологический контроль за ходом выполнения решений, процессами перестройки во всех сферах жизни.

В. В. Однако исследования, в ходе которых проверяются те или иные теоретические гипотезы, представляют лишь небольшую часть информации о жизни общества. Остальным ведает государственная социальная статистика.

Т. З. В большинстве стран — да. Социальная статистика составляет прочную базу социологических исследований. Ее данные широко публикуются. К примеру, правительство Японии ежегодно большим тиражом издает подробный социолого-статистический отчет «О национальной жизни». Многие показатели там даются в динамике за последние десять— пятнадцать лет. Причем статистические данные каждого раздела обязательно сопоставляются с результатами опроса населения. Допустим, документальные данные свидетельствуют о снижении загрязнения воды и воздуха, и социологические опросы подтверждают, что острота этой проблемы в глазах населения уменьшилась. У нас — иначе. По обеспечению населения информацией мы на одном из последних мест в мире. Если, конечно, считать социальной статистикой не архивные накопления Госкомстата, а те данные, что публикуются в печати и доступны широкому кругу людей.

Интересно, что наши зарубежные коллеги не понимают самих мотивов засекречивания данных о распространении преступности, проституции, частоте самоубийств, уровне потребления наркотиков и алкоголя, экологических ситуациях в разных городах и районах. Ведь подобного рода сведения составляют

предмет статистики всех экономически развитых стран. В последнее время круг публикуемых показателей социальной статистики у нас заметно расширился, но главная работа здесь еще впереди. Мы должны, наконец, распрямиться, встать во весь рост и прямо взглянуть на себя в зеркало статистики, чтобы увидеть свои недостатки и их правильно оценить. Доступность всевозможных статистических данных не только ученым, но всем слоям населения имеет принципиальное значение. Скрывая от людей сведения об условиях их собственной жизни и работы (скажем, о степени загрязнения среды, уровне производственного травматизма), нельзя ожидать от них роста активности. Гласность должна быть гласностью во всем!

В. В. Гласность не может быть самоцельной. Она инструмент. Поэтому хочу вас спросить: сведения, которыми располагает социология, идут в дело? То есть реально ли участие социологов в управленческой деятельности?

Т. З. Боюсь, что пока оно невелико. Не могу припомнить ни одного крупного управленческого решения, задевающего интересы миллионов людей, которое базировалось бы на предварительно проведенном надежном социологическом исследовании. Зато примеров обратного — сколько угодно. В начале шестидесятых вытеснялись личные подсобные хозяйства, шло повсеместное преобразование колхозов в совхозы, деление сел на перспективные и неперспективные, массовое строительство в деревнях многоэтажных зданий, жильцы которых рвутся обратно в собственные дома... Все это — не обращаясь к людям, волевым путем, приказным порядком... Государственная экспертиза крупнейших проектов до сих пор осуществляется без участия социологов. К чему это приводит, показывают строительство БАМа, проект переброски сибирских рек в Среднюю Азию, страсти вокруг Байкальского БЦК и целый ряд более современных примеров. Равноправного диалога с органами управления у социологов пока не получается. Направляя в различные государственные организации свои доклады, мы часто не получаем никакого ответа. Не знаем, как оценен и использован материал, приняты ли наши рекомендации... Думаю, социологам следует, с одной стороны, повышать собственный профессионализм, а с другой — быть более настойчивыми. Надо, чтобы их доклады не только информировали начальство о сложившейся ситуации, но и предсказывали социальные последствия намечаемых решений. Но и работникам управления следует чаще обращаться к социологии, без которой сегодня нельзя решить ни одной серьезной общественной проблемы. Было бы полезно четко определить правовой статус социологии в отношениях с органами управления, государственными и общественными организациями, обеспечить постоянное участие социологов в экспертизах Госплана, в социально-экономическом экспериментировании.

ХРАМ И ДОРОГА К НЕМУ

В. В. Выходит, социология — прикладная наука? Выработка советов и рекомендаций... Этакое социальное проектирование, чуть ли не инструктаж?

Т. З. Я бы сказала так: социология — просто наука. И как любая другая наука, она имеет и теоретическое, и прикладное значение.

В. В. Действительно, отец современной ядерной физики Резерфорд был убежден, что никогда не удастся использовать для практических целей огромные запасы энергии, хранящиеся в атомном ядре, а вот поди ж ты...

Т. З. По-моему, прикладная социология оттого и страдает, нередко оказываясь бесплодной, что у нее пока еще нет достаточно прочной теоретической базы. Как говорится, было бы что прикладывать...

В. В. Ваш сибирский коллектив поставил несколько социально-экономических экспериментов на селе. Об одном из них я писал. Это известный эксперимент в алтайском колхозе «Путь к коммунизму». Вас интересовала связь экономического развития общества и экономического поведения его членов. Теперь-то, кажется, многие уже проникаются пониманием, а в ту пору — шел восемьдесят второй год — звучало крамольно: экономическое поведение работника регулируется прежде всего экономическими методами. Эту... не знаю даже, как назвать, гипотезу, что ли, опробовал в том алтайском хозяйстве автор эксперимента Василий Дмитриевич Смирнов. Меня до сих пор сверлит невысказанная догадка: он лукавил вместе с вами. Маскировал научным поиском нормальный, здравый порядок вещей от покушений районного начальства. Так ли?

Т. З. Нет, никакого лукавства там не было. Просто отрабатывалась модель бригадного подряда. Кроме того, нас интересовала возможность (сроки, интенсивность) социального и нравственного преображения работника, открывающего в себе неведомые прежде ни ближайшему окружению, ни ему самому запасы мастерства, изобретательности, инициативы. А прикладной целью эксперимента, еще раз подчеркиваю, были разработка и внедрение улучшенной модели хозяйственного механизма и на базе этого — повышение экономической зависимости работника от результатов его труда.

В. В. Я думаю, есть целый ряд ступеней для перехода от фундаментальных исследований к практическим рекомендациям. Но прежде, вы правы, следует решить познавательную задачу, создать научную картину общества. У нас же нередко преобладает утилитарный взгляд на предназначение науки. Конечно, социологи могут оценить, надо ли строить Крымскую АЭС и какие это будет иметь социальные последствия. Но ответить, какая дорога ведет к храму, обществоведы пока не в состоянии. А не решив его, мы не дадим верные ответы и на сотни других, в том числе и о том: надо ли строить Крымскую АЭС?

Т. З. Интересно, что в сфере социологии теоретическое познание своего общества является одновременно и прикладной задачей. Кто мы? Откуда? Куда идем и чего хотим? Как устроено наше общество? Из каких социальных слоев и групп оно состоит? Мы только-только начинаем честно отвечать на эти вопросы. Ну, скажем, что такое социализм — не казарменный, не государственный, а настоящий, тот, который был выстрадан Лениным и который нами пока еще не построен? Социализм с человеческим лицом... Гуманизированное, демократическое общество. Есть ли у нас его целостная модель, согласованно описывающая все основные стороны общественной жизни? Такая, чтоб на двух-трех страницах — и все понятно? Пока что нету!

В. В. Чтобы проложить дорогу к храму, надо знать, где находится храм.

Т. З. Да, сегодня это главный социальный заказ нашему обществоведению — построить модель храма и найти дорогу к нему. Этот тип социального заказа, кажется, впервые адресуется советским ученым. И в который раз поражаешься справедливости ленинской мысли о том, что если не решать общих вопросов, то при решении частных всякий раз будешь ушибаться об острые углы и вперед не продвинешься. Что же касается научных советов и рекомендаций, то они будут тем надежнее, чем эффективнее мы сумеем развивать социологическую теорию.

ДУША НАСЕЛЕНИЯ: БЕЗ СТУКА НЕ ВХОДИТЬ

В. В. Существует ли нравственный кодекс социолога, подобный клятве Гиппократа? Ваш коллега Владимир Николаевич Шубкин лет десять назад опубликовал в «Новом мире» принципиально важную статью «Пределы». О том, каковы границы вторжения социолога в чужую жизнь, что он может, а чего не вправе себе позволить. Шубкин пишет о таких «профессиональных заболеваниях» социологов, как бестактность, бесцеремонность, злоупотребление людским доверием. Хотя, конечно же, эти болезни не являются монополией ваших коллег. Владимир Николаевич приводит письмо, поступившее в редакцию одной из центральных газет, о том, как один из научных институтов готовился к переходу на новую систему работы. Подготовить этот переход добровольно взялись социологи. И полтора года в институте работала социологическая лаборатория. Поначалу к ее деятельности относились с уважением, тем более что в преамбуле к первым анкетам цель работы определялась так: улучшение психологического климата в коллективе, создание обстановки, способствующей повышению эффективности научной работы. Поэтому такой, например, вопрос: «С кем бы вы не хотели работать в одной лаборатории?» — хотя и вызвал некоторую настороженность, но все же был воспринят как допустимый: может быть, знание ответа на него необходимо с точки зрения строго научного подхода к улучшению психологического климата. Через некоторое время выяснилось, что по ответам на упомянутый вопрос выставляется балл, который определяет «негативную экспрессивность сотрудников». Потом оказалось, что сотрудники с высоким баллом «негативной экспрессивности» могут быть понижены в должности. После этого отношение к работе социологов стало иным. Появились сомнения, правильные ли выводы делают они, подводя итоги анкетирования. Многие стали отказываться от участия в опросах. Однако был издан приказ по институту, в котором сотрудникам фактически вменялось в обязанность отвечать на вопросы социологических анкет. Люди стали искусственно придумывать ответы, боясь подвести товарищей. В институте создалась нервозная обстановка — об улучшении психологического климата забыли и думать. Вот такая история.

Т. З. К сожалению, она не единична. Нередко социологи, вторгаясь в коллектив со своими анкетами, добиваются, того не желая, разрушительных результатов. Но чем более профессиональный характер приобретает наша наука, чем шире распространяется подлинно социологическое, а не какое-то смежное образование, тем меньше должно становиться подобных случаев.

В. В. А как же прогресс науки? Смелость ученого? Сохранять смелость научного поиска, не выходя при этом за нравственные пределы, не каждому удается. У Владимира Высоцкого есть строки:

А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.

Мне кажется, профессиональное достоинство социолога состоит именно в этом — ставить нужные вопросы и не удовлетворяться каверзными ответами. И, разумеется, делать свое дело чистыми руками, тут я с вами абсолютно согласен.

Т. З. Гуманизм — в традициях русской социологии. Помните, что писал Лев Николаевич Толстой по поводу нравственной стороны переписи 1882 года в Москве, в которой, как известно, сам принимал участие: «Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки социологии — счастие людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от всех других наук».

Вот так... А мы подчас не учитываем, сколь разрушительны бывают последствия нашего неосторожного вторжения в какой-либо коллектив или человеческую душу. Социолог-марксист не имеет права участвовать в бездушных манипуляциях, выходить за нравственные пределы своей науки. Поэтому правление Советской социологической ассоциации и приняло «Нравственный кодекс социолога», первая заповедь которого — «не вреди!»

В. В. Однажды при работе над очерком о занятости таджикского населения я обратился к социологическим исследованиям и обнаружил там железные рекомендации: из кишлака — на стройплощадку, в цех, за баранку самосвала! Убийственная категоричность. Да, республике нужны рабочие. Но каково человеку, который мучительно и больно рвет с землей и домом навсегда? Ведь кишлак для таджика — это не место жительства, которое можно выгодно обменять на другое, с удобствами. Это отец, мать, могилы дедов и прадедов. Это — уважение земляков, потерять которое стыдно и страшно. Это сад, огород, где, что ни посади, все вырастет, но не само собой, как мнится покупателю с Черемушкинского рынка, а дружным старанием семьи. Эта выматывающая душу тоска, когда уедешь. Почему же социологи с легким сердцем дают рекомендации, похожие на приговор ревтрибунала, как будто трудовые ресурсы — это не люди, а запасные части к механизму нашей индустрии?

Ах, да, конечно, ученые искренне желают добра кишлачным жителям, пекутся об их благе. И все же, все же... «Ведь вы...— заметил на сей счет Достоевский устами одного из своих героев,— весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды — это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит».

Что же это за выгода такая, без которой и расчет не расчет? А вот: «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия...»

Почему так ценил и так высоко ставил великий знаток души человеческой эту выгоднейшую из выгод? А потому, что она «сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность».

Т. З. Да, это одна из самых глубинных характеристик человека, принципиально не позволяющая превратить его в «винтик» даже самой большой машины. Тем более интересной и сложной является социологическая наука, в центре внимания которой находятся ценностные ориентации, потребности, интересы, убеждения людей и соответственно механизмы их поведения. К человеку, даже как к объекту исследования, надо относиться прежде всего уважительно, признавая его суверенность в определении линии своей жизни. Социология не должна забывать о том, что она — всего лишь наука, форма познавательной, а не управленческой деятельности. И легализировать любые попытки манипулирования людьми.

ГОБЕЛЕН. 1901.

Начало на стр. 8.

тивно-подражательная функция формы: она прежде всего служила воспроизведению натуры, созданию иллюзии ее непосредственного лицезрения. К этому, разумеется, добавлялись определенные моменты композиционной и декоративной организации изображения, но они имели подчиненный и второстепенный характер.

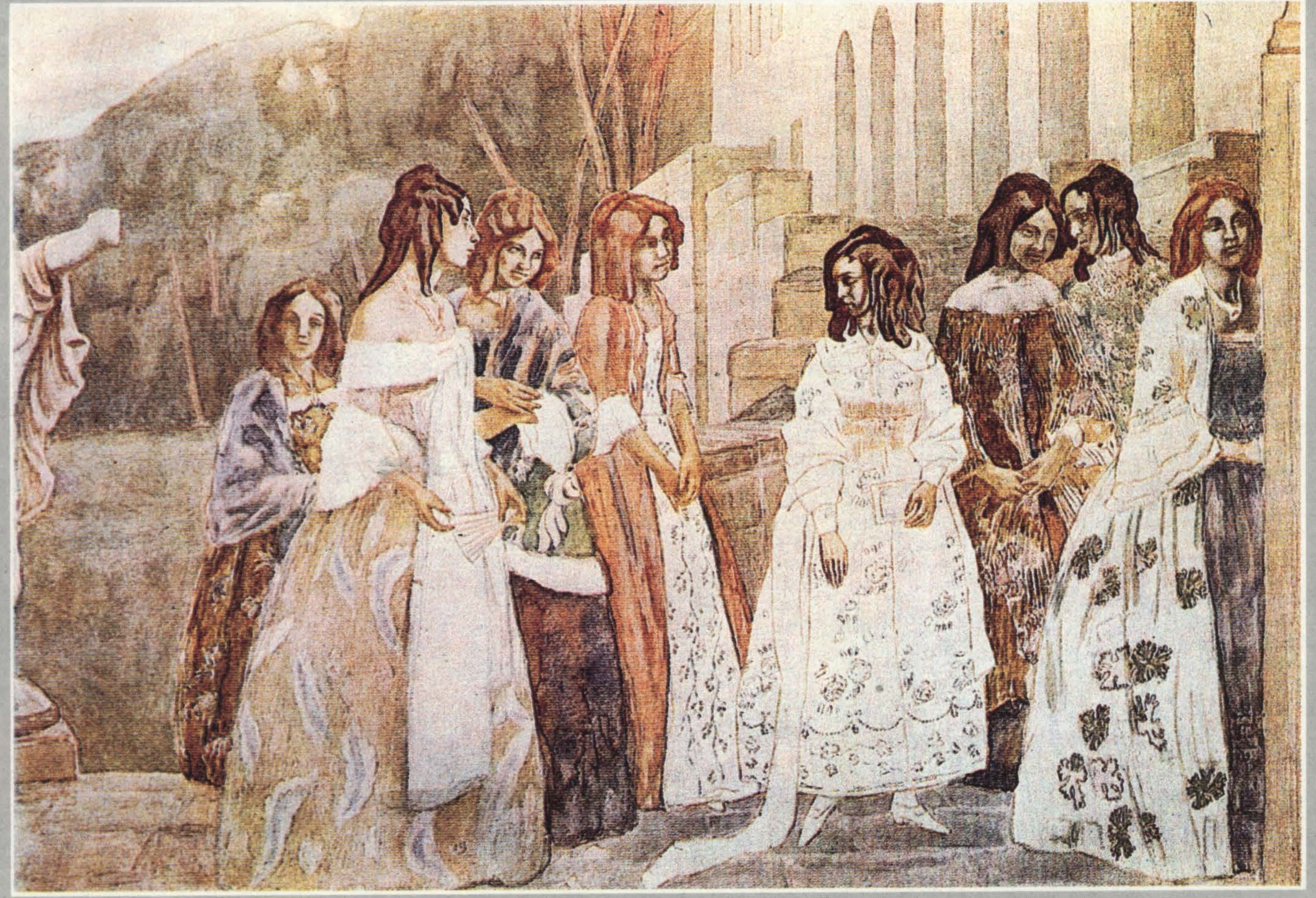
В живописи двадцатого века — и в России, и на Западе — такие взаимоотношения решительно изменились. Значение сюжета, рассказа, других видов повествовательности и описания постепенно уменьшается. Образная суть картин все в большей, заметно нарастающей степени раскрывается через колорит, ритм, движение линий и иные элементы пластики. «Водоем» служит в этом смысле чрезвычайно выразительным примером. В этих многочисленных оттенках живописной формы проскальзывает то ощущение зыбкого рубежа между сном и явью, которое перекликается с характерными мотивами русской символической поэзии. Впрочем, и музыки тоже. Сравнение с творчеством Александра Скрябина тут просто напрашивается.

Конечно, самый термин «символизм» следует по отношению к искусству В. Борисова-Мусатова приме-



ЦВЕТУЩИЕ ВИШНИ. 1901.

АВТОПОРТРЕТ
С СЕСТРОЙ. 1898.



РЕКВИЕМ. 1905.

нять с большой осторожностью. Усложненная философичность, иррациональность, программная двойственность (отражение потустороннего мира в мире земном) символизма были, в общем, чужды этому художнику. Но система переноса понятий, метафорического истолкования образов — подлинная стихия Мусатова. Его картины, за редкими исключениями, не поддаются прямому прочтению. В них всегда есть затаенный, сокровенный смысл, логику которого нужно извлекать из всей совокупности выразительных качеств полотен, как из симфонического потока музыки.

Несколько последних произведений мастера, сохраняя национально-поэтическую подоснову, почти целиком отходят от мотивов русской «усадебной лирики» и обретают вознесенную над любыми локальными ограничениями всечеловечность. Таковы «Изумрудное ожерелье», «Реквием».

Заметим, что в 1904—1905 годах Борисов-Мусатов выполняет несколько эскизов панно (майоликовая серия, посвященная М. В. Ломоносову; «Времена года»—«Весенняя сказка», «Летняя мелодия», «Осенний вечер», «Сон божества»), которые, к сожалению, не были осуществлены. Но монументально-декоративные формы, всегда близкие душе мастера, стали в еще большей степени, чем раньше, соответствовать масштабности его образных замыслов. Теперь он явно тяготеет к росписи, фреске.

Речь идет об этом в той связи, что «Изумрудное ожерелье» и «Реквием», исполненные в станковых техниках, также воспринимаются эскизами стенописи.

В композиции «Изумрудного ожерелья» нет ни одного прорыва в глубину — изображение стелется по поверхности первого плана. Конечно, в этом есть «расчет на стену», мысленная связь с архитектурой. Но не только. В подобной плоскостности — предлагаемая условность. Изображено не такое-то место, а мир в целом.

Это прекрасный и светлый мир. Его средой оказывается дивный по красоте узор трав и листьев. Они полны могучей жизненной энергии, пронизаны скрытыми отблесками солнца. Их ритм спокоен и медлителен. В своей размеренной повторяемости они прочны и неизменны как вечность.

Чуть впереди — расположенная прихотливо извивающейся цепью группа девушек. Она глубоко сродни этому сверкающему вечнозеленому царству деревьев и трав. Их молодость и обаяние не имеют границ во времени, они олицетворяют щедрую силу и совершенство жизни. А также богатство ее форм и проявлений. Повествование идет о тех высших формах, которые поэт или художник способен провидеть в сокровенных глубинах бытия и затем придать им, так сказать, воображаемую реальность, отнесенную в пределы им самим созданного условного мира красоты и счастья.

К ним, однако, в этой картине Борисова-Мусатова (как и всегда у него) примешиваются элегические ноты. Быть может, это вообще обязательный оттенок классического восприятия прекрасного и совершенного. Как сказала Анна Ахматова: «Всего прочнее на земле — печаль, и долговечней — царственное слово...» Или как с замечательной проникновенностью заметил Чехов: «Грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты...»

Таким, как Ахматова или Чехов, этим небожителям, виднее. И на их взгляд красота и грусть нераздельны. Борисов-Мусатов следует этой великой традиции, причем ему, пожалуй, ближе всего принадлежащая тому же ряду пушкинская формула «печаль моя светла»...

И надо ли удивляться тому, что в «Реквиеме», который завершает творческий путь мастера, прекрасное и печальное сплетены воедино? Это еще одно шествие женских фигур, только более суровое и торжественное. Смерти здесь нет — ни как зрелища, ни как чувства. Это дантовский мир воспоминаний и теней, к которому понятие времени просто неприменимо. В сущности, это и не людская процессия, а собеседование душ, которое более всего выражает себя в музыкальности линий, ритма, тончайших переходов и оттенков белых, голубых и розовых красок.

Такой естественный и убедительный переход зрительного в мыслимое, изображения в идею, кажется, впервые в русской живописи встречающийся именно у Борисова-Мусатова,— предвестие новых, поразительных открытий искусства России. В одном из последних этюдов мастера — пастели «Куст орешника» — очертания и цветовые оттенки пейзажа едва ли не тают в бледном зелено-желтом тумане. Живая натура на глазах становится почти утрачивающей плоть предметности музыкально-зрительной фразой. Уже упоминалось, что примеру Борисова-Мусатова во многом обязаны Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян. Ну, а Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Марк Шагал, Михаил Матюшин? Мы еще не совсем ясно представляем себе подлинный ход развития русского изобразительного искусства...

Александр КАМЕНСКИЙ

С 19 ноября Дворец культуры Московского электролампового завода вместе с редакцией журнала «Огонек» проводят Неделю Совести.

В ответ на обращение к читателям присылать предложения, связанные с созданием Мемориала, в ДК МЭЛЗ пришли сотни писем. Откликнулись люди из разных городов. Присылают макеты, словесные описания будущего комплекса, рисунки, пусть даже не всегда умелые, но в них, как и во всей корреспонденции, живая заинтересованность, выстраданные, жизнью подсказанные идеи.

Организаторы думают бросить клич студентам художественных вузов — придать графическое воплощение изложенному в письмах, сделать зарисовки читательских замыслов и предложений.

Итак, Неделя Совести — это выставка проектов Мемориала. Экспозиция фотоснимков и документов. Просмотр архивной кинохроники, художественных лент о трагических событиях той поры.

Это и выступления общественных деятелей, ученых, писателей, военных и дипломатов. Диспуты с участием зала об истоках культа и сталинщины, о гарантиях свободы и социалистической демократии. Исполнение стихов репрессированных поэтов, знакомство с песнями, написанными в лагерях — от Воркуты до Магадана...

И еще. Неделя Совести — это Стена Памяти. Затянутая суровым холстом пустая стена фойе, располосованная на клетки. Она будет заполняться все эти дни. Сюда вы можете принести или прислать по почте то, что хранится в семье, характерные, выразительные реликвии тяжелого времени. Можно просто прикрепить или положить записку с именем отца, деда, оставшихся в застенках ГУЛАГа, копию справки о реабилитации, письмо на волю. Или чудом сохранившийся листок дневника, фотографию. Все материалы перейдут затем в музей Мемориала.

В рамках Недели будет функционировать информационный центр. Дима Юрасов, студент Московского историко-архивного института собрал уже 130 тысяч карточек с именами и сведениями о жертвах репрессий. Он продолжает работу и ждет от вас дополнительных сведений. В эти дни он будет давать справки и консультации.

Адрес ДК МЭЛЗ: 105023, Москва, пл. Журавлева, 1.

Сбор от мероприятий Недели пойдет в фонд Мемориала.

«Огонек», который является одним из его учредителей, также получает письма, обсуждающие эти больные для людей проблемы. Редакция продолжает публикацию читательских мнений о том, каким быть Мемориалу Совести.


МЕМОРИАЛ СОВЕСТИ

МЕМОРИАЛ СОВЕСТИ

Убийство С. М. Кирова было чудовищной провокацией Сталина против советского народа, партии и всего коммунистического движения, послужило предлогом к разворачиванию массового террора и созданию чрезвычайных репрессивных органов.

В связи с этим предлагаю объявить день убийства Сергея Мироновича Кирова — 1 декабря — Днем памяти жертв сталинских репрессий.

В. Д. РЫЖКОВ,
историк, член КПСС
Днепропетровск

Мемориал несовместим с эпитетом красивый, и не должен собой украшать наши улицы, города, наш мир. Где бы он ни был сооружен, он не смеет примелькаться, стать частью пейзажа, снизойти до обыденности. Именно поэтому стоит ли вообще сооружать художественный памятник, даже если он окажется не хуже мемориала на Пискаревском кладбище в Ленинграде или Братского кладбища в Риге?

Трудно представить, что один Мемориал-монумент может вобрать в себя и выразить весь полный спектр идей и эмоций, связанных с эпохой безгласности и произвола. В перечень меньших памятников, но с той же идеей, наверное, могли бы быть включены не только Соловки, Колыма, Воркута, Магадан, но и казахстанские лагеря, Лефортовская тюрьма (или только та ее часть, где расстреливали), и лагерные комплексы в Коми АССР, и беспризорно-забытые безымянные кладбища для ссыльных народностей (я встречал такие в Средней Азии). Да и на Колыме следует думать не только о мемориальном сооружении; прежде необходимо выполнить элементарный долг — вскрыть траншеи с захороненными у самой поверхности, в слое вечной мерзлоты, где тела, даже лица сохранились («только бороды в инее»), провести опознание и захоронить, а не сдвигать бульдозерами, пробиваясь к полезным ископаемым (об этом писали «Московские новости» № 27, 1988).

Можно только приветствовать мысль о создании информационного центра о жертвах репрессий, который должен быть музеем, библиотекой и архивом одновременно. Но стоит ли противопоставлять такой центр — Мемориалу? Они оба — и центр, и Мемориал — необходимы и нам, и потомкам. Хотя очень трудно представить, сколько томов займет справочник о жертвах и палачах, если он будет полным. Пока же слова из «Реквиема» А. Ахматовой — «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать» — не потеряли своей актуальности. По индивидуальным запросам Военная коллегия Прокуратуры СССР выдает не только краткие справки о реабилитации (как это было в 1955—1956 годах), но и сообщает теперь самые общие биографические данные о реабилитированном, даты вынесения приговора и приведения его в исполнение. Но все это без каких-либо сведений об обстоятельствах дела, о содержании ложных обвинений, о составе «тройки», не говоря уже об именах следователей, об авторах доносов и т. п. Сами судебные дела, если они сохранились,— в лучшем случае «ограниченно доступны»: выдаются для ознакомления не по первому требованию родных погибшего, а, например, по ходатайству творческой организации (?). Наверное, не каждый решится заглянуть на полвека назад, в страшный застенок, где вынимают показания из близкого тебе человека... Но право на это должны иметь и дети, и внуки, и близкие расстрелянных или погибших в лагере. Все обвинения — ложные, правда восторжествовала, но ведомственную тайну и безопасность пока, увы, берегут бдительно, продолжая путать ее с государственной.

Е. В. ЗЕЙМАЛЬ,
доктор исторических наук
Ленинград

Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось решению насущных проблем ныне живущих жертв культа личности. Их, вероятно, не так уж много, они все пенсионного возраста и, полагаю, в чем-нибудь да нуждаются. Как известно, им после реабилитации выплатили компенсацию в символическом размере (два месячных оклада). Она была задумана в свое время для того, чтобы хоть в малой степени возместить деньгами годы бесплатного, изнурительного труда в лагерях.

Всем им надо помочь, это наш общий долг и долг государства.

В. Ф. ПИЛИПЕНКО
Киев

Предлагаю установить памятник жертвам сталинских репрессий в сквере напротив дома по улице Серафимовича, 2, где кинотеатр «Ударник»,— «дома на набережной», печально известного своими многочисленными жертвами. В давние времена это место называлось Болотом, здесь был казнен Емельян Пугачев...

Пусть площадь, которая носит сейчас имя И. Е. Репина, будет именоваться негромко, например, Народной Памяти, а для памятника замечательному художнику, думаю, найдется место.

В. И. ПЕТРУКОВИЧ,
инженер-океанолог, 36 лет
Мурманск

Открыть музей жертвам сталинских репрессий необходимо в Бутырской (или иной лихой славы) тюрьме, с воссозданием всей обстановки, со следственными камерами, орудиями истязаний, со списком имен ярых исполнителей черного террора. Вряд ли удастся создать более правдивый и впечатляющий памятник.

В. И. НАЧАРОВ,
1927 года рождения
Минск

ПЕНСИОНЕР СОЮ

Сергей ХРУЩЕВ

Часть II

Я взглянул на часы — гуляли мы почти два часа. Стало совсем темно. Мы повернули к машине.

Я поблагодарил Василия Ивановича за сообщение, заверил, что отношусь к его словам с полным доверием и со всей серьезностью. Пообещал, как только появится отец, сразу же пересказать ему все. На всякий случай попросил номер домашнего телефона — вдруг что-то понадобится. Василий Иванович неохотно продиктовал мне его.

— Сергей Никитич, пожалуйста, звоните мне только в случае крайней необходимости,— нерешительно сказал он.— И прошу вас, ничего по телефону не говорить, только условиться о встрече. Мой телефон прослушивается, я в этом убежден. Даже проверял: не платил за телефон долгое время. По всем законам аппарат должны были отключить, а этого не сделали. Значит, меня подслушивают,— заключил Голюков.

Я опять почувствовал себя участником детективной истории — слежка, подслушивание телефонов, заговоры. Все это было непривычно, жутковато и нереально. До сего времени я привык, что КГБ и другие службы находятся в лагере союзников. Им можно доверять, на них можно опереться. Сколько я себя помню, вокруг дома стояла охрана из людей в синих фуражках. Я всегда видел в этих людях своих друзей, собеседников и даже участников детских игр.

И вдруг эта организация повернулась другой стороной. Она уже не защищала, она выслеживала, знала каждый шаг. От таких мыслей по спине начинали бегать мурашки.

В глубине души я надеялся, убеждал себя, что этот дурной сон пройдет, все выяснится и жизнь покатится дальше по привычной колее. И все же что-то говорило: нет, это очень серьезно, и, как бы ни сложились дальнейшие события, по-прежнему уже ничего не будет.

Как выяснилось позднее, и Голюков, и я были одинаково наивны в оценке возможностей КГБ. Его опасения о подслушивании домашнего телефона оказались только частью истины. Телефон правительственной связи на квартире Хрущева тоже подслушивался, а наша встреча с Василием Ивановичем была зафиксирована от первого до последнего шага. Потом мы не могли сделать ни шагу без ведома компетентных органов.

Но в тот момент, усլавливаясь о «конспирации», мы, естественно, ничего не знали. Вернее, Голюков беспокоился, я же, на словах соглашаясь с ним, в душе посмеивался: у страха глаза велики. Впрочем, считал я, осторожность тоже не повредит. И ему будет спокойнее, независимо от того, правда это или нет — человек пришел с добрыми намерениями.

Пора было возвращаться. Без приключений мы выбрались на дорогу, огляделись: «хвоста» за нами не было. Святая простота!..

Продолжение. Начало см. в № 40.

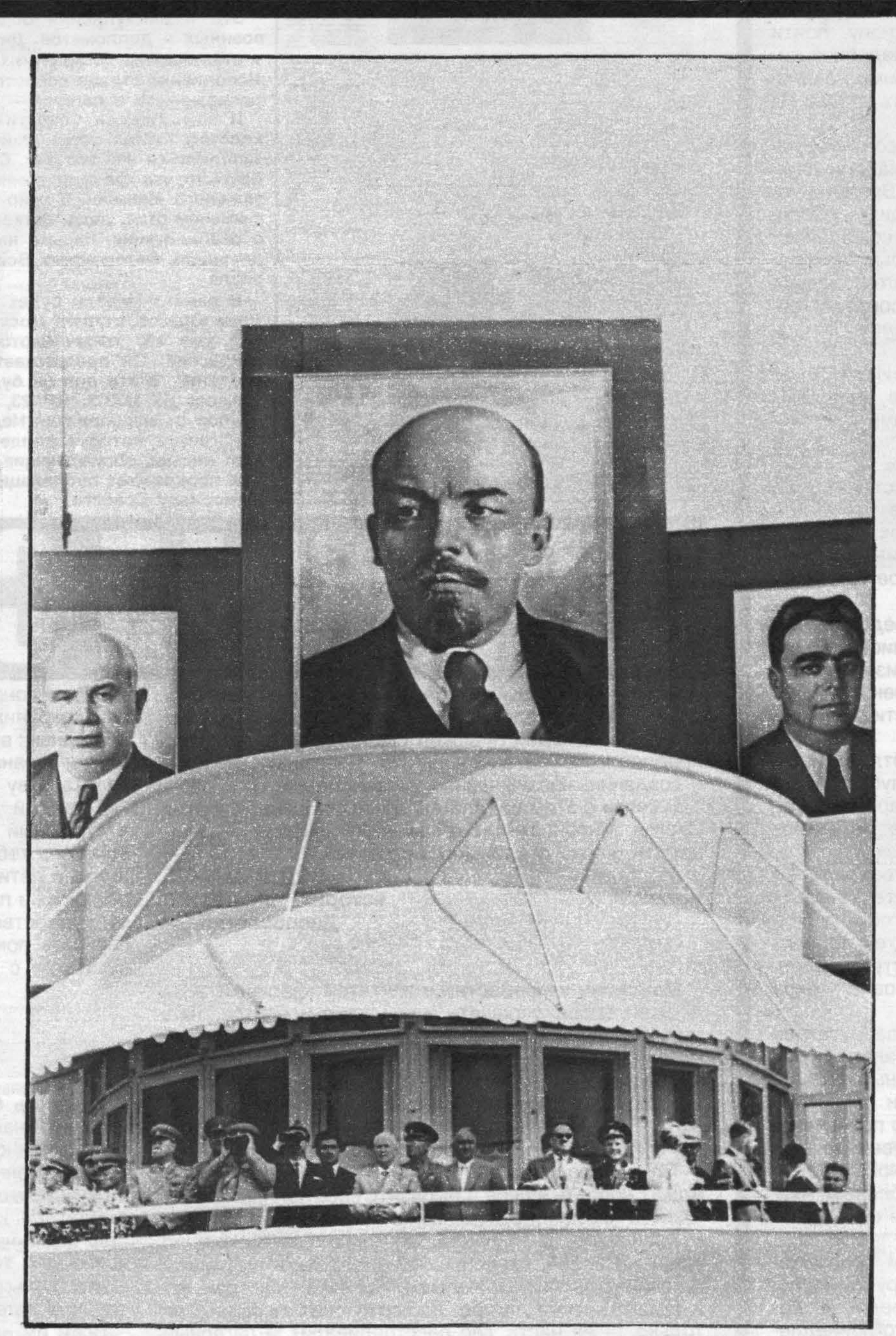


Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА

Через полчаса я высадил Василия Ивановича напротив его дома, пообещав позвонить, если возникнет необходимость. Еще раз поблагодарил его за информацию. Через несколько минут я въезжал во двор особняка. Дежурный закрыл ворота, и вот я уже отгорожен от внешнего мира. Здесь, внутри, все было так знакомо, спокойно и незыблемо. Происшедшее там, за воротами, отсюда казалось совсем нереальным и неопасным.

Отца нет, он приедет через несколько дней, и пока можно заняться другими делами. «Заговорщики» подождут, никуда не денутся. Приедет отец и во всем разберется, все поставит на свои места.

Пришли первые сведения с полигона. Показ военной техники заканчивался, но для конструкторского бюро генерального конструктора Челомея, где я работал, результаты оказались нерадостными. Межконтинентальная баллистическая ракета, разработку и испытания которой мы только что закончили, не выдержала конкуренции со стороны аналогичной ракеты КБ Михаила Кузьмича Янгеля. Эти две ракеты делались параллельно и предназначались для решения одинаковых задач.

Уже в процессе испытаний военные начали отдавать предпочтение ракете Янгеля. Их активно поддерживал Дмитрий Федорович Устинов. Хотя в то время он уже непосредственно не занимался оборонными делами, но авторитет его, как одного из отцов ракетной техники в нашей стране, был чрезвычайно велик и слово его значило многое. Леонид Ильич Брежнев, к которому после инсульта Козлова вместе с постом второго секретаря ЦК перешло наблюдение за военной промышленностью, по свойственной ему мягкости характера не высказывал определенного мнения. Несколько месяцев тому назад к нему на прием пробился Челомей. С присущим ему красноречием он убедил Брежнева в преимуществах своего детища и получил заверения в полной поддержке.

Однако в августе случилось «несчастье». Устинов пошел к Брежневу, они проговорили за закрытыми дверями несколько часов, и мнение Брежнева резко переменилось. Это чувствовалось по недомолвкам и общему отношению работников аппарата ЦК к нашему КБ, чутко улавливающих любое изменение в симпатиях руководства.

Брежнева связывало с Устиновым давнее знакомство. Впервые они сошлись сразу после войны, когда Брежнев был секретарем Днепропетровского обкома. На строительных площадках восстанавливаемого города молодой настойчивый министр и познакомился с симпатичным секретарем обкома. С тех пор и связывала Устинова и Брежнева если и не дружба, то непроходящее чувство взаимного расположения. Пути их расходились, они не виделись годами, но при встречах с удовольствием вспоминали конец сороковых. Энергичный и целеустремленный Устинов подчинял своей воле Брежнева, известного своим податливым характером. Об этом знали все.

О чем же говорили в августе Устинов с Брежневым? Свидетелей не было. Сейчас можно предположить, что главной темой были не челомеевские или янгелевские ракеты: речь, видимо, шла о будущем без Хрущева. Ракетные дела затронули лишь вскользь — пока надо сосредоточиться на главном.

Не подозревая, о чем же шла речь на этой встрече, мы все ломали головы: в чем Устинов убедил Брежнева? (Как выяснилось, мы не угадали: на сей раз Брежнев убеждал Устинова.) Какую позицию займет Леонид Ильич? Челомей нервничал, бесконечно твердил:

— Я знаю характер Леонида Ильича. Он согласится со всем, что ему скажет Устинов. Устинов им командует как хочет, он полностью подчиняет его своей воле.

Технические характеристики ракет были примерно одинаковы, а поэтому чашу весов мог перевесить в любую сторону самый незначительный аргумент.

И вот информация — Хрущев высказался не в нашу пользу. И хотя нашему КБ недавно был дан крупный заказ и будущее рисовалось в розовом свете, неудача с первым опытом создания баллистической ракеты всех опечалила. Однако это были только первые сведения: и Хрущев, и Челомей находились на полигоне. Мы с нетерпением ждали их возвращения, хотелось все узнать из первых рук.

Все эти события отодвинули на второй план проблемы, высказанные Голюковым. Там все сомнительно, а здесь сейчас решается судьба нашего детища, плоды упорной работы последних нескольких лет.

Отец за эти дни подзагорел под осенним солнцем пустыни, выглядел посвежевшим. Он был доволен увиденным и, как обычно, спешил поделиться своими впечатлениями. Отец рассказывал о них своим коллегам за обедом в Кремле, а дома его собеседником был я. Работая в КБ, я разбирался в технике, и отец как бы проверял на мне свои впечатления, расспрашивал о деталях.

На полигоне ему показали новый трехместный «Восход», который в ближайшие дни должен будет стартовать на орбиту искусственного спутника, представили его экипаж — Комарова, Феоктистова и Егорова.

Отец был прямо-таки переполнен гордостью за нашу страну, обогнавшую в космосе Соединенные Штаты.

ЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Окружающие вовсю поддакивали ему, стремились поддержать иллюзию, что США вот-вот останутся позади и первая страна социализма станет самой передовой технической державой.

В первый день по возвращении с полигона отец, не заезжая домой, отправился в Кремль. Домой он приехал в шестом часу, оставил в столовой портфель с бумагами и позвал меня:

— Пойдем погуляем.

В последнее время отец сменил кожаную папку, которой пользовался все это время, на черный портфель с монограммой на замке.

Этот портфель подарил ему один из иностранных посетителей. Чем-то он ему понравился, и вместо того чтобы передать его, как обычно, помощникам и забыть о нем, отец оставил портфель себе и не расставался с ним до самой отставки.

Ритуал вечерней прогулки повторялся ежедневно — от дома к воротам, легкий кивок взявшему под козырек офицеру охраны, поворот налево на узкую асфальтированную аллейку, идущую вдоль высокого каменного забора. Дорожка с обеих сторон обсажена молодыми березками. В углу маленькая лужайка со стайкой березок посредине. Здесь короткая остановка — нельзя не полюбоваться на них. Это тоже вошло в привычку. И опять поворот налево. Справа за забором — соседний особняк, точная копия того, в котором живем мы. Раньше там жил Маленков, после него Кириченко, а сейчас дом пустует. В заборе зеленая калитка, и при желании можно пройти через соседний участок к Воронову и дальше до особняка, занимаемого Микояном.

Сегодня мы проходим мимо калитки и идем дальше, обходя дом справа. Березки уступили место вишневым деревьям. Весной это пышные шары, покрытые белыми цветами, а сейчас на тоненьких веточках только кое-где торчат одинокие красноватые листочки — осень...

Дом позади, и дорожка начинает петлять по склону над Москвой-рекой — по серпантину можно спуститься до самого берега, а затем вернуться и завершить круг.

Мы гуляем вдвоем — эта привычка выработалась у нас обоих. Так происходит изо дня в день. Иногда присоединяются Рада и Аджубей, реже мама. Наша же пара постоянна.

Часть пути шли молча, видимо, отец устал и говорить ему не хотелось.

Я иду рядом, раздумывая: начать разговор о встрече с Голюковым или отложить. Говорить на эту тему не хотелось — можно нарваться на грубое: «Не лезь не в свое дело». Такое уже бывало в разговорах о Лысенко и генетике. Сейчас мое положение было еще более щекотливым — никто и никогда не вмешивался в вопросы взаимоотношений в высшем эшелоне руководства. Эта тема запретна. Отец никогда не позволял даже себе высказываться в нашем присутствии о своих коллегах.

Я же должен не только нарушить этот запрет, но намеревался обвинить ближайших соратников и товарищей отца в заговоре...

Да и по-человечески мне этого делать очень не хотелось. И Брежнев, и Подгорный, и Косыгин, и Полянский — все они часто бывают у нас в гостях, гуляют, шутят. Многих я помню с детства еще по Киеву. Если все это окажется ерундой, выдумкой малознакомого человека, в чем я все время пытаюсь себя убедить, как я взгляну потом им в глаза, что они будут обо мне думать?

Словом, я решил отложить разговор.

Вместо этого я осведомился о его впечатлениях, о показе техники. Сначала нехотя, а потом все более и более увлекаясь, отец начинает говорить. Глаза его загораются, на лице уже не видно усталости. Ракеты — это его гордость. Он перечисляет типы ракет, сравнивает их характеристики, вспоминает разговоры с главными конструкторами и военными. Отец горд — теперь мы сравнялись по военной мощи с Америкой. Когда он стал Первым секретарем ЦК в начале пятидесятых годов, США были недостижимы, а американские бомбардировщики могли поразить любой пункт на нашей территории. Теперь же сам президент США Кеннеди признал равенство военной мощи Советского Союза и Соединенных Штатов. И всего за десять лет! Есть чем гордиться.

Выбрав удобный момент, я спросил: «А как тебе понравилась наша ракета?»

Явно не желая обсуждать этот вопрос, видимо, там, на полигоне, обо всем этом было много разговоров, отец ответил:

— Ракета хорошая, но у Янгеля лучше. Ее и будем запускать в производство. Мы все обсудили и приняли решение. Не поднимай этот вопрос сызнова.

Я промолчал, хотя было очень обидно за наш коллектив, который столько сил вложил в разработку.

Как бы почувствовав это, отец добавил:

— У вас много хороших предложений. Мы одобрили программу работ. Сейчас Смирнов* занимается оформлением.

Закончилась неделя. В субботу вечером, как обычно, все отправились на дачу. Жизнь текла по давно заведенному привычному ритуалу: в воскресенье утром завтрак, отец просмотрел газеты, отметил заинтересовавшие его статьи и пошел гулять.

Снова мы гуляли вдвоем. Отец любил бродить по лесной дорожке вдоль забора дачи — длина ее около двух километров, без больших подъемов. В последнее время он их стал замечать. Семьдесят лет давали себя знать.

Дорожка извивалась в густом сосновом лесу. Шли молча, я все выбирал момент, оттягивая начало разговора. Дошли до калитки, через нее можно было выйти за ограду дачи на лужок в пойме Москвы-реки. Когда мы переехали на эту дачу, луг стоял заросшим густой зеленой травой. Отец приспособил луг к делу. Один год тут высевали чумизу, потом луг покрывался грядками с разными сортами кукурузы. Отец привозил своих коллег на дачу и с жаром объяснял особенности возделывания каждого сорта.

Сейчас луг был разрыт. Везде валялись бетонные столбы, лотки, трубы. Сельскохозяйственная делегация привезла из Франции новинку — оросительную систему, вода в которой текла по бетонным лоткам, установленным на столбиках над землей. Отцу это очень понравилось: вода не теряется в почве, и арыки не отнимают землю у посевов. Он загорелся новой идеей и решил испытать ее у себя на даче. Сказано — сделано. Была дана команда, и через неделю появились строители. Луг превратился в строительную площадку.

Теперь мы шли по краю леса, и отец с удовольствием обозревал содеянное. Ему уже виделись ровные рядки лотков, на полтора метра поднятые над землей и наполненные тихо журчащей водой. Через мерные отверстия на каждую грядку отмеряется нужное количество воды для полива, ни больше ни меньше и без потерь.

Обойдя луг, мы повернули обратно. Неприятный разговор больше откладывать было нельзя, прогулка заканчивалась. Сейчас, вернувшись на дачу, отец примется за бумаги, потом обед, но, главное, вокруг будут люди, а мне не хотелось затевать этот разговор при свидетелях.

— Ты знаешь,— начал я,— произошло необычное событие. Я должен тебе о нем рассказать. Может, это ерунда, но молчать я не вправе.

Затем я коротко рассказал о странном звонке и встрече с Голюковым. Отец выслушал меня молча. К середине рассказа мы дошли до калитки, ведущей к дому. Секунду поколебавшись, он повернул обратно на луг.

Я закончил свой рассказ и замолчал.

— Ты правильно сделал, что рассказал мне,— наконец прервал молчание отец.

Мы прошли еще несколько шагов.

— Повтори, кого назвал этот человек,— попросил он.

— Игнатов, Подгорный, Брежнев, Шелепин,— стал вспоминать я, стараясь быть поточней.

Отец задумался.

— Нет, невероятно. Брежнев, Подгорный, Шелепин — совершенно разные люди. Не может этого быть,— в раздумье произнес он.— Игнатов — возможно. Он очень недоволен, и вообще он нехороший человек. Но что у него может быть общего с другими?

Он не ждал от меня ответа. Я выполнил свой долг — дальнейшее было вне моей компетенции.

Мы опять повернули к даче. Шли молча. Уже у самого дома он спросил меня:

— Ты кому-нибудь говорил о своей встрече?

— Конечно, нет! Как можно болтать о таком?

— Правильно,— одобрил он,— и никому не говори.

Больше к этому вопросу мы не возвращались.

В понедельник я впервые после болезни отправился на работу. За ворохом новостей о происходившем на полигоне я совсем забыл о Голюкове.

Вечером, когда отец вернулся из Кремля, я был уже дома. Увидев подъезжавшую машину, я вышел навстречу.

Отец, продолжая вчерашний разговор, сразу же начал без предисловий:

— Видимо, то, о чем ты говорил, чепуха. Мы с Микояном и Подгорным вместе выходили из Совета Министров, и я в двух словах пересказал им твой рассказ. Подгорный просто высмеял меня: «Как вы только могли такое подумать, Никита Сергеевич?» — вот его буквальные слова.

У меня сердце просто упало. Этого мне только не хватало: завести себе врага на уровне члена Президиума ЦК. Ведь, если все это ерунда, то Подгорный, да и другие, кому он не приминет обо всем рассказать, никогда мне не простят. Все, что я рассказал, можно квалифицировать как провокацию против них.

Начиная разговор с отцом, я опасался чего-то подобного. Боялся, что информация выйдет наружу, но такого я предположить не мог.

Правда, и раньше случались похожие происшествия. Некоторое время назад отец долго меня расспрашивал о сравнительных характеристиках различных ракетных систем. Я рассказал ему все, что знал, стараясь сохранить объективность. Я не хотел выступить апологетом своей «фирмы». На вооружении нашей армии должно быть все самое лучшее, а кто что сделал — вопрос другой. Слишком дорого мы заплатили в 1941 году за субъективизм, чтобы забыть эти кровавые уроки. А через несколько дней, выступая на Совете обороны со своими соображениями о развитии индустрии вооружений, отец вдруг бухнул: «А вот Сергей мне говорил то-то и то-то»...

Когда мне об этом сообщили, я за голову схватился! И надо же было мне лезть со своим мнением вперед. Можно было сказать, что я, мол, не в курсе дела. Вот и «продемонстрировал» свою эрудицию и рвение в защите государственных интересов. А теперь люди, с которыми мне работать, не простят мне ни одного критического замечания отца в их адрес.

С тех пор я решил больше в такие ситуации не попадать. И вот на тебе — еще хуже — влопался по самые уши и с кем?! С членами Президиума ЦК!!!

— В среду я отправлюсь, как собирался, на Пицунду, по дороге залечу в Крым, проеду по полям в Краснодарском крае,— продолжал отец.— На всякий случай я попросил Микояна побеседовать с этим человеком. Он тебе позвонит. Пусть проверит. Он тоже собирается на Пицунду, задержится тут немного, все выяснит, когда прилетит, мне расскажет.

Я расстроился. Если все чепуха, то зачем об этом говорить? Ну а если нет, то как же можно выпускать нить событий из рук? Если же поручать расследование Микояну, то как можно было делать это на ходу, в присутствии Подгорного, о котором шла речь как об участнике готовящихся событий? Все получалось на редкость несерьезно и глупо. В любом случае я оказывался в самом нелепом положении.

Однако дело было сделано, и переживать было поздно. На ход событий я повлиять уже не мог.

— Может, тебе задержаться и самому поговорить с этим человеком? — робко предложил я.

Отец поморщился. Было видно, что заниматься этим делом он не станет.

— Нет, Микоян — человек опытный. Он все сделает. Я устал, хочу отдохнуть. И вообще... давай прекратим этот разговор.

— Можно я тоже прилечу на Пицунду? В этом году я в отпуске не был. Поживу там с тобой,— переменил я тему разговора. В конце концов ему виднее, как поступать в подобной ситуации.

— Конечно! Мне будет веселее,— обрадовался он.— Сведешь этого чекиста с Микояном, бери отпуск и приезжай.

Отец улетел в Крым, где провел пару

* Смирнов Л. В. — в тот период заместитель Председателя Совета Министров СССР.

дней, а затем, с заездом в Краснодарский край, прибыл на Пицунду. Я остался в Москве, решив не проявлять больше инициативы. Несколько дней прошло в обычных служебных хлопотах. Никто мне не звонил. Иногда на меня накатывало какое-то предчувствие опасности, но я гнал его прочь — нечего впадать в панику. Свой долг я выполнил — остальное не мое дело...

И вдруг как-то, в один из этих предотъездных дней у меня на столе зазвонил телефон. Я снял трубку.

— Хрущева мне,— раздался требовательный голос.

Обращение было по меньшей мере необычным, и я несколько опешил.

— Я вас слушаю...

— Микоян говорит,— продолжал мой собеседник.— Ты там говорил Никите Сергеевичу о беседе с каким-то человеком. Можешь его привезти ко мне?

— Конечно, Анастас Иванович. Назовите время, я созвонюсь и привезу его, куда вы скажете,— отозвался я.

— На работу ко мне не привози. Приезжайте на квартиру сегодня в семь часов вечера. Привези его сам и поменьше обращайте на себя внимание,— то ли попросил, то ли приказал Анастас Иванович.

— Не знаю, удастся ли его сразу разыскать. Ведь у меня только домашний телефон, его может не быть дома,— засомневался я.

— Если не найдешь сегодня, привезешь завтра. Только предупреди меня,— закончил Анастас Иванович.

Я тут же набрал телефон Голюкова. На мое счастье он оказался дома и сам снял трубку.

— Василий Иванович, с вами говорит Сергей Никитич,— начал я, умышленно не называя фамилии.— С вами хочет поговорить Анастас Иванович. У него надо быть в семь часов вечера, я за вами заеду без двадцати минут семь.

В тоне Голюкова было мало радости по поводу моего звонка, а когда я сказал о Микояне, он просто испугался.

— Я бы не хотел, чтобы меня узнали. Меня хорошо знает Захаров *, могут быть неприятности,— пробормотал он.

— Не беспокойтесь. Мы поедем прямо на квартиру в моей машине, я сам буду за рулем. В семь часов уже темно. Охрана меня хорошо знает в лицо, я часто у них бываю, дружу с сыном Микояна — Серго. Они не будут выяснять, кто сидит со мной в машине,— успокоил я его.

Не знаю, подействовали ли на Василия Ивановича мои разъяснения или он понял, что выхода у него другого нет, но больше он не возражал.

Без пяти минут семь мы были у ворот особняка Микояна. Как я и ожидал, выглянувший в калитку охранник узнал меня и, ничего не спрашивая, открыл ворота. Мы подъехали ко входу и быстро прошли в незапертую дверь. Аллея перед домом делала поворот, и от въезда нас не было видно.

Прихожая была пуста. Меня это не смутило, я хорошо знал расположение комнат в доме. Раздевшись, мы поднялись на второй этаж и постучали в дверь кабинета.

— Войдите,— раздался голос Анастаса Ивановича.

Микоян встретил нас посреди комнаты, сухо поздоровался. Одет он был в строгий темный костюм, только на ногах были домашние туфли.

Я представил ему Голюкова.

Обычно Анастас Иванович встречал меня приветливо, осведомлялся о делах, подшучивал. На этот раз он был холодно-официален и всем своим видом подчеркивал, насколько ему неприятен наш визит. Такой прием меня окончательно расстроил — вот первый результат моего вмешательства не в свое дело. А что будет дальше?

* Захаров Николай Степанович — в октябре 1964 года один из руководящих сотрудников КГБ, в прошлом начальник управления охраны.

Все особняки на Ленинских горах были похожи друг на друга, как близнецы. Даже мебель в комнатах была одинаковой.

Так же, как и в доме, где жили мы, стены кабинета Микояна были покрыты деревянными панелями под орех. Одну стену целиком занимал большой книжный шкаф, заставленный сочинениями Ленина, Маркса, Энгельса, материалами партийных съездов.

В углу у окна стоял большой письменный стол красного дерева с двумя обтянутыми коричневой кожей креслами перед ним. На столе сгрудились четыре телефона: массивный белый «ВЧ», обтекаемый с только что появившимся витым шнуром «вертушка», попроще черный городской, и без наборного диска для связи с дежурным офицером охраны.

Чуть в стороне на отдельном столике — большая фотография лихого казачьего унтер-офицера в дореволюционной форме, с закрученными черными усами и четырьмя Георгиями на груди — подарок Буденного.

Анастас Иванович предложил нам сесть в кресла. Сам он устроился за столом. Обстановка была сугубо официальной.

— Ручка есть? — спросил он меня.

— Конечно,— не понял я, полез в карман и достал авторучку.

Микоян показал на стопку чистых листов, лежавших на столе.

— Вот бумага, будешь записывать наш разговор. Потом расшифруешь запись и передашь мне.

После этого он обратился к Голюкову несколько приветливее:

— Повторите мне то, что вы рассказывали Сергею. Постарайтесь быть поточнее. Говорите только то, что вы на самом деле знаете. Домыслы и предположения оставьте при себе. Вы понимаете всю ответственность, которую берете на себя вашим сообщением?

Василий Иванович к тому времени полностью овладел собой. Конечно, он волновался, но внешне это никак не проявлялось.

— Да, Анастас Иванович, я полностью сознаю ответственность и отвечаю за свои слова. Позвольте изложить вам только факты.

Голюков почти слово в слово повторил то, что он говорил мне во время нашей встречи в лесу.

Я быстро писал, стараясь не пропустить ни слова.

Пока Голюков рассказывал, Микоян периодически кивал ему головой, как бы подбадривая, иногда слегка морщился. Но постепенно он стал явно проявлять все больший интерес.

Василий Иванович закончил рассказ об уже известных мне событиях и вопросительно посмотрел на Микояна.

— Вы давно работаете с Игнатовым? Расскажите о нем, может быть, вас что-то настораживало раньше? — поинтересовался Микоян.

Голюков начал вспоминать о каких-то фактах многолетней давности, они неожиданно вплетались в недавние события.

— Нужно сказать, что отношение Игнатова к Хрущеву менялось в зависимости от продвижения Николая Григорьевича вверх или вниз по служебной лестнице. А у него постоянно взлеты перемежались падениями. В эти периоды он начинал зло ругать Хрущева.

Когда нас перевели из Ленинградского обкома в Воронеж, Игнатов был очень недоволен — из второй столицы выбросили в рядовую область.

Помню, приехал Никита Сергеевич в Воронеж на совещание по сельскому хозяйству. Он тогда объезжал основные районы, проверял подготовку к севу, беседовал с активом. Вышел Хрущев из вагона, поезд был не специальный, а обычный. Вокруг народ снует, каждый своим делом занят: одни целуются, обнимаются, другие уже вещички к выходу тащат. Никто на Хрущева внимания не обращает. Только уж если кто совсем на него переть начинает, охранник в штатском вежливо ручкой показывает — мол, обойдите сторонкой.

Все это недолго продолжалось.

Местное начальство, конечно, встречать Хрущева приехало: обком, исполком, военные, как принято. Только мы подошли, толпа стала собираться — любопытно, кого это встречают. Тут и узнали Хрущева, зааплодировали, приветствовать стали, выкрики раздались одобрительные. Игнатов все заметил, и, когда мы, проводив Хрущева в приготовленную для него резиденцию, садились в свою машину, удовлетворенно отметил:

— Не любят его. Видел, как плохо встречали?..

Совещание проходило бурно. На нем были не только воронежцы, но и руководители соседних областей. Никита Сергеевич часто перебивал докладчиков, задавал вопросы, вставлял едкие критические замечания. Другим доставалось, а Воронежскую область он даже похвалил.

В перерыве, когда Игнатов вышел из комнаты президиума, я поздравил его:

— С успехом вас, Николай Григорьевич. Нас одних Никита Сергеевич похвалил.

— Что ж, я мало труда вложил? — задиристо ответил Игнатов.

— Бывает, работаешь, работаешь, сил не жалеешь, а начальство приедет и по косточкам разложит.

— Хм, попробовал бы он только. Я бы его сам разделал...— отозвался он и отошел.

Или вот в ту же осень отдыхали мы в Сочи, как обычно. Я узнал, что на отдых приезжает Хрущев. Доложил об этом Игнатову и предложил съездить в Адлер на аэродром встретить.

Игнатов меня выругал:

— Хруща-то? Иди ты с ним... Если хочешь, встречай сам.

Надо сказать, что в раздражении он никогда не произносил фамилию правильно, а сокращал презрительно: «Хрущ».

Потом из Воронежа мы перебрались в Горьковский обком. И там Игнатов не мог забыть, что его выдворили из Ленинграда, по каждому поводу выражал свое неудовольствие.

Стал Хрущев именоваться не просто секретарем ЦК, а Первым секретарем, Игнатов тут же:

— Вот, приставку себе приделал. Ничего, он долго не протянет. Лет пять еще от силы. Возраст у него уже преклонный.

Про пленумы и совещания по сельскому хозяйству отзывался неизменно презрительно:

— Ничего у них не выйдет. Болтовня одна...

Потом все переменилось. Хрущев приезжал в Горький; он тогда предложил отсрочку платежей по займам. Они долго разговаривали с Игнатовым и того как подменили — начал он Хрущева расхваливать на всех перекрестках. Я думаю, что у них был разговор о переводе Игнатова на работу в Москву.

В 1957 году в первых числах июня Никита Сергеевич пригласил Игнатова (он тогда еще в Горьком был) и Мыларщикова (заведующего Отделом сельского хозяйства ЦК КПСС) к себе на дачу посмотреть посевы. Стал он нам показывать грядки с чумизой и кукурузой. Тогда Хрущев увлекался чумизой, надеясь, что ее можно будет выращивать в наших условиях и получать большие урожаи. Когда выяснилось, что культура эта требует большого ухода и очень капризна, Никита Сергеевич к ней охладел и впоследствии к мысли о широком ее внедрении не возвращался.

Когда Хрущев и Мыларщиков отошли чуть в сторону, Николай Григорьевич поманил меня:

— Скажи Мыларщикову, пусть уезжает, не задерживается. Мне с Хрущевым наедине поговорить надо.

Мыларщиков вскоре уехал.

В это время против Хрущева выступила «антипартийная группа». Игнатов был на стороне Хрущева.

Хрущев довольно долго гулял с Игнатовым, о чем-то ему рассказывал, видимо, о ситуации, сложившейся в Президиуме ЦК, говорил о позиции, занятой Молотовым, Кагановичем, Маленковым и другими.

Мы с начальником охраны Хрущева следовали за ними чуть поодаль и, естественно, разговора не слышали, только под конец до нас долетела фраза, сказанная Игнатовым:

— ...Это дело нужное. Надо ее решать.

Видимо, речь шла о Пленуме ЦК, который должен был вот-вот собраться для обсуждения разногласий, возникших в Президиуме. На этом Пленуме после осуждения «антипартийной группы» Игнатов вошел в состав Президиума ЦК. Он был на седьмом небе от счастья, но пытался не подать вида, как будто ничего иного и не могло произойти.

Сразу же он озаботился вопросом, как распределятся портфели в Президиуме и какой пост достанется ему. К Хрущеву с этим вопросом он идти не решился и подключил к выяснению Валентина Пивоварова, он в то время работал секретарем в приемной Хрущева.

Вскоре Пивоваров сообщил Игнатову:

— Прощупал Хрущева. Будешь секретарем ЦК.

Игнатов очень обрадовался. Он рассчитывал занять пост второго секретаря. Просто был уверен в этом. И тут разочарование — вторым секретарем избирают Алексея Илларионовича Кириченко, а Игнатов становится рядовым секретарем, отвечающим за сельское хозяйство.

Ярости его не было границ.

— Чем я хуже Кириченко? Что я, хуже его разбираюсь?

Благожелательное отношение к Хрущеву опять перешло в плохо скрытую ненависть.

Хрущев стал для него как бы навязчивой идеей. Бывало, вглядывается мне в лицо и вдруг говорит:

— Ну и рожа у тебя. Да ты такой же держиморда, как Хрущ.

Другой раз сидит в кресле, молчит и как бы про себя бурчит:

— Он же дурак дураком...

— Вы о ком, Николай Григорьевич? — спрашиваю.

— О Хруще, о ком же еще? И я мог бы так же. Говорили мне, чтобы брал руководство. И надо было.

— Но ведь тяжеловато...— осторожно возразил я.

Этот эпизод привлек внимание Микояна, и он уточнил:

— А когда это было?

— Точно не скажу, помню только, что в 1959 году. Видимо, такая точка зрения сложилась в результате разговоров Игнатова с приятелями: Дорониным, Киселевым, Жегалиным, Денисовым, Хворостухиным, Лебедевым, Игнатьевым, Патоличевым...

— Товарищ Голюков, — вмешался опять Анастас Иванович,— вы сами говорите, что неприязнь Игнатова к Хрущеву существует давно, а обратились к нам только сейчас. Чем это вызвано? Почему у вас появились сомнения? Когда это произошло?

Василий Иванович был готов к ответу, видимо, он много думал на эту тему:

— Сомнения, подозрение, что что-то происходит, оформились у меня в Сочи, в этом году. Раньше разговорам Игнатова я особого значения не придавал — болтает себе и пусть болтает. Гуляем, а он ругает Хрущева, остановиться не может. Никак не мог простить, что его на XXII съезде не выбрали в Президиум ЦК.

— В 1957 году мой Пленум был, без

меня они бы не справились. (Речь идет об осуждении «антипартийной группы» Молотова, Кагановича и других.— **С. Х.**). И «двадцатка» (XX съезд КПСС.— **С. Х.**) — моя... Сколько я сделал! А он сельское хозяйство запустил. Я бы за два-три года все поднял, он только болтает, а дела нет!

Летом разговоры стали целенаправленнее. Кроме того, его отношения со многими людьми вдруг резко изменились. До последнего лета Игнатов плохо относился к Шелепину, Семичастному, Брежневу, Подгорному и многим другим. Доброго слова о них не говорил, а тут постепенно все они перешли в разряд друзей. Сам Игнатов не переменился, значит, изменились обстоятельства, что-то их объединило в одной упряжке. После 1957 года до последнего времени Игнатов при каждом удобном случае злословил по адресу Брежнева:

— Занял пост, а что он сделал? Даже выступить как следует не мог. Лазарь (Каганович.— **С. Х.**) на него прикрикнул, и он сознание от страха потерял, «борец» *.

Потом отношение Игнатова к Брежневу стало более ровным, но он ревниво следил за каждым его шагом.

Николай Григорьевич все время сохранял надежду на возвращение в Президиум ЦК и лелеял надежду занять пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В начале этого года, когда стало известно, что Брежнев в скором времени полностью сосредоточится на работе в Секретариате ЦК, Игнатов начал активно обзванивать всех, выясняя, кого планируют на освободившееся место, какие у него шансы. В это время Хрущев находился на Украине, Брежневу Николай Григорьевич звонить не хотел, но постоянно переговаривался с Подгорным. Тот его обнадежил, передав свой разговор с Хрущевым в Крыму. Они тогда затронули вопрос о Председателе Президиума, видимо, у Хрущева к тому времени не сложилось определенного мнения о возможной кандидатуре. На вопрос Подгорного, кто же планируется на этот пост, Хрущев ничего не ответил.

Тогда, как сообщил Подгорный Игнатову, он решил спросить впрямую:

— Может быть, подошел бы Игнатов?

Хрущев ответил неопределенно:

— Посмотрим, посоветуемся.

Основываясь на этом случайном разговоре, Николай Викторович уверял Игнатова, что он убедил Хрущева, и определенно обещал:

— Никита Сергеевич согласился со мной и думает решить вопрос о твоем назначении.

У Игнатова вырвалось непроизвольно:

— Ну, а если правда?..

Он и верил и не верил, что давняя мечта может сбыться. И поэтому допытывался у Подгорного, что же еще сказал Хрущев, насколько все это точно?

Подгорный, естественно, ничего добавить не мог, разговор был мимолетным, и больше в поездке к нему не возвращались. Оставил он Игнатова окрыленным надеждой, и тем сильнее было разочарование. Председателем Президиума стали вы, Анастас Иванович. Узнав об этом, Николай Григорьевич целый вечер почем зря честил и вас, и Никиту Сергеевича. В этом году, возвращаясь домой, Николай Григорьевич часто сообщал как бы невзначай: «Долго мы сегодня у Николая засиделись» — и замолкал многозначительно. Иногда бросал: «Был сегодня у Брежнева. Полезно поговорили. Он меня уверял, что все будет хорошо».

Надо сказать, что после того, как Подгорного резко критиковали на Президиуме ЦК, Игнатов очень близко с ним сошелся. Раньше отношения с ним были прохладными. Взять хотя бы поездку на празднование 150-летия вхождения Азербайджана в состав России. Игнатов очень хотел поехать в Баку руководителем делегации Москвы. Вроде все шло к тому, но в последний момент делегацию возглавил Подгорный. Опять разговорам не было конца. «И чего его черт туда несет... Опять мы будем на вторых ролях...» — причитал Игнатов. В Баку ему все не нравилось, особенно доклад Ахундова на торжественном заседании. В нем часто цитировался Хрущев. Игнатов возмущался: «Зачем это Ахундову надо? Зачем как попка за ним повторяет? Совсем ситуации не понимает...»

В Баку нас поселили в одном особняке с Подгорным, но Игнатов с ним почти не общался. Поздороваются только и разойдутся в разные стороны. Подгорный готовился к выступлению, а Игнатову делать было нечего, и, чтобы убить время, он целыми днями гулял вокруг особняка.

Ему нужен был слушатель, и я неизменно его сопровождал. На какую бы тему ни начинался разговор, постепенно он стягивался к Подгорному. Казалось, о другом Игнатов не может думать. Чего-то он опасался, часто повторял в раздумье:

— Опасный это человек. Ох, опасный... А что о нем ребята его говорят, охрана?

Я тогда, помню, уклонился от прямого ответа.

— Мы, Николай Григорьевич, об этом не разговариваем. Между собой такие темы не затрагиваем.

— Ладно. Может, оно и правильно. Но человек он опасный. Очень опасный.

Разговор на том и прекратился.

В Баку Николай Григорьевич держался особняком, видно, чувствовал себя обиженным. Он только встретился с Заробяном, просидели часа два, но о чем говорили, я не знаю.

Голюков замолчал, видимо, собираясь с мыслями:

— Еще вспоминаются разрозненные эпизоды. Не могу сказать конкретнее, но Игнатов часто упоминал о недовольстве военных. «И им Хрущ,— говорит,— надоел, со своими сокращениями — поперек горла. Они только и ждут, чтоб его...»

Игнатов тогда не договорил, а только со смаком подковырнул большим пальцем.

Анастас Иванович заинтересовался:

— А как вы думаете, кого он имел в виду?

Голюков замялся.

— Не знаю. Он фамилий не называл. Вот с маршалом Коневым они часто встречались. Вместе были в Чехословакии на похоронах Антонина Запотоцкого и там сблизились. После ухода Конева в отставку отношения у них остались теплыми. Они перезванивались, поздравляли друг друга с праздниками, но настоящей близости, дружбы не было. Других я не знаю... Был еще такой эпизод. Перед поездкой в Болгарию Брежнев позвонил Игнатову, по какому вопросу, я уже запамятовал, но одна фраза засела у меня в голове.

Уже прощаясь, Игнатов предупредил: «Леня, имей в виду, я был там в 1960 году, мы с Живковым долго говорили наедине. Настроен он критически, даже сказал мне: «Странно ведет себя ваш...», но продолжать не стал».

Еще один факт.

Когда приезжал к нам Радхакришнан, Николаю Григорьевичу позвонил Высотин из Протокольного отдела Верховного Совета СССР и предупредил, что во время поездки по стране он будет сопровождать высокого гостя. Игнатов любил такие поездки, они были для него добрым знаком — о нем помнят, без него обойтись не могут. Однако на сей раз вышла осечка: следом за Высотиным вечером домой Игнатову позвонил Георгадзе. Извинившись, он сказал, что говорит по поручению Микояна:

— Мы планировали вас в поездку с Радхакришнаном. Сегодня обсуждался маршрут, и Анастас Иванович предложил посетить Армению. Если вы не возражаете, то Анастас Иванович хотел бы сам поехать туда с индусами. Скоро приезжает с визитом афганский король — вот вы с ним и поедете.

Игнатов возражать не стал, но очень расстроился.

На следующий день утром я зашел к Игнатову. Все сидели за столом, завтракали. Тут же на столе лежала кипа утренних газет, видно, их только что просматривали.

Сын Игнатова — Лев, продолжая прерванный моим приходом разговор, недовольно заметил:

— А в газетах-то не написано, что Микоян сопровождает делегацию... Просто не хотели, чтоб ты поехал. Понимаешь, это вопрос политики.

Игнатов насупился над тарелкой и кивнул головой:

— Да, все не просто. Они хотят меня в тени держать.

Голюков заерзал на стуле и вопросительно посмотрел на Анастаса Ивановича:

— Вы просили рассказывать обо всем, даже о мелочах. Может, это и мелочь, но, мне кажется, она хорошо характеризует общее настроение Игнатова.

Микоян кивнул:

— Рассказывайте все.

Василий Иванович продолжал:

— Или вот такой факт: Игнатов ежедневно пересчитывает, сколько раз в газетах упоминается Хрущев. Если есть фотография, то пристально ее рассматривает. Поглядит, поглядит, хмыкнет удовлетворенно: «Что ни говорите, а физиономия его с каждым днем выглядит все хуже и хуже».

В последнее время Игнатов выглядел очень нервным, часто срывался на крик, особенно его беспокоило, почему Никита Сергеевич не уезжает в отпуск. Даже выругался недавно: «И что он, черт, отдыхать не едет?» Мне кажется, этот повышенный интерес к отпуску Хрущева как-то связан со всем происходящим,— добавил Голюков.

— Вы излагайте факты, а выводы мы сделаем сами,— повторил Анастас Иванович.

— Надо сказать,— снова продолжил Голюков,— что Игнатов нелестно отзывается и о других членах Президиума ЦК. Вот, например, Полянского он иначе как «прощелыга» не называет. Воронов для него — человек ограниченный. Косыгину дал кличку «Керенский», часто повторяет, что дела тот не знает, за что ни возьмется — все провалит. Подобным образом он отзывается и о многих других.

Заметив, что Анастас Иванович не проявляет интереса, Голюков переменил тему.

— В последние дни отношение ко мне Игнатова переменилось. Я думаю, что факт моего разговора с Сергеем Никитичем стал ему известен. Очевидно, за нами следили и предупредили Игнатова. Николай Григорьевич стал очень настороженным, никаких откровенных разговоров со мной не ведет и вообще старается держать меня подальше. Конкретные факты привести трудно, но я чувствую, что он мне больше не доверяет.

На днях Николай Григорьевич, собираясь на торжественное заседание по случаю столетия Первого Интернационала, позвонил мне. Это было в четыре часа. Меня на месте не было. Вернулся я домой в семь вечера и, узнав, что Игнатов меня искал, сразу позвонил ему на работу. Он взял трубку. С преувеличенным вниманием Игнатов стал меня расспрашивать, как идут дела, что нового.

Я ответил, что все нормально.

— Я только что приехал с торжественного заседания. Там выступал Никита Сергеевич, говорил он просто замечательно,— заливался Игнатов.

Эти слова резанули мой слух. Такого я давно не слыхал. Последнее время он вообще иначе как «Хрущ» не говорил, а тут — «Никита Сергеевич... говорил замечательно...» Очень мне такой оборот не понравился. Тридцатого сентября я позвонил Игнатову опять. На душе было неспокойно. Николай Григорьевич сам взял трубку.

— Что тебе нужно? — спрашивает.

— Да вот увидел в окнах свет и решил проверить: может, чужие в квартире. Разрешите зайти снять показания со счетчика.

— Ладно, ладно. Завтра сделаешь...— Игнатов, не закончив фразы, повесил трубку. Он явно хотел от меня отделаться. Ну... вот, собственно, и все...

Голюков вытащил платок и отер вспотевший лоб.

Я отложил ручку и стал разминать затекшие пальцы. Передо мной лежала груда листков, исписанных сокращениями, недописанными словами,— я очень торопился, стараясь не упустить ни слова.

В кабинете повисла настороженная тишина.

Микоян сидел, задумавшись, не обращая на нас никакого внимания. Мысли его были где-то далеко. Наконец он повернул к нам голову, выражение лица было решительным, глаза блестели.

— Благодарю вас за сообщение, товарищ...

Анастас Иванович запнулся и взглянул на меня.

— Голюков, Василий Иванович Голюков,— торопливо вполголоса подсказал я.

— ...Голюков,— закончил Микоян.— Все, что вы сказали, очень важно. Вы проявили себя настоящим коммунистом. Я надеюсь, вы учитываете, что делаете это сообщение мне официально и тем самым берете на себя большую ответственность.

— Я понимаю всю меру ответственности. Перед тем как обратиться с моим сообщением, я долго думал, перепроверял себя и целиком убежден в истинности своих слов. Как коммунист и чекист, я не мог поступить иначе,— твердо ответил Голюков.

— Ну что ж, это хорошо. Я не сомневаюсь, что эти сведения вы нам сообщили с добрыми намерениями и благодарю вас. Хочу только сказать, что мы знаем и Николая Викторовича Подгорного, и Леонида Ильича Брежнева, и Александра Николаевича Шелепина, и других товарищей как честных коммунистов, много лет беззаветно отдающих все свои силы на благо нашего народа, на благо Коммунистической партии, и продолжаем к ним относиться, как к своим соратникам по общей борьбе!

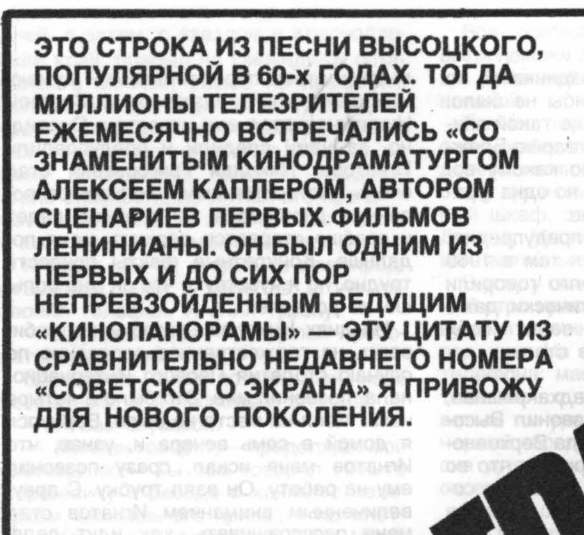
Продолжение следует.

* Вскоре после XIX съезда партии, когда Сталин резко расширил Президиум и Секретариат ЦК, Брежнева избрали секретарем ЦК. После смерти Сталина состав этих органов был сокращен до прежних размеров. Пришлось подыскивать места для «безработных». Брежнева определили начальником политуправления Военно-Морского Флота, что было, без сомнения, не очень почетно для него. Леонид Ильич остро переживал такой поворот своей судьбы. Когда обстановка несколько разрядилась, Никита Сергеевич вспомнил о своем старом соратнике, и Брежнев вновь занял пост секретаря ЦК. В июне 1957 года на заседаниях Президиума и Секретариата ЦК он оказался среди меньшинства, поддерживающего Хрущева. Дебаты были бурными.

Когда очередь выступать дошла до Леонида Ильича, он начал что-то говорить, отстаивая свою позицию, но слушать его не стали, а Каганович грубо оборвал:

— А ты чего лезешь? Молод еще нас учить. Никто твоего мнения не спрашивает. Мало во флоте сидел? Смотри обратно загоним — не выберешься.

Расстановка сил на заседаниях была не в пользу Хрущева, и угроза была вполне реальной. Брежнев испугался, силы ему изменили, и после такой отповеди он упал в обморок. Пришлось вызывать врача и приводить его в сознание.


ЭТО СТРОКА ИЗ ПЕСНИ ВЫСОЦКОГО, ПОПУЛЯРНОЙ В 60-х ГОДАХ. ТОГДА МИЛЛИОНЫ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО ВСТРЕЧАЛИСЬ «СО ЗНАМЕНИТЫМ КИНОДРАМАТУРГОМ АЛЕКСЕЕМ КАПЛЕРОМ, АВТОРОМ СЦЕНАРИЕВ ПЕРВЫХ ФИЛЬМОВ ЛЕНИНИАНЫ. ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ И ДО СИХ ПОР НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ ВЕДУЩИМ «КИНОПАНОРАМЫ» — ЭТУ ЦИТАТУ ИЗ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНЕГО НОМЕРА «СОВЕТСКОГО ЭКРАНА» Я ПРИВОЖУ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Юлия ДРУНИНА

И «ПОСТРАДАВШИЙ ОТ СТАЛИНА КАПЛЕР»

Нет, Алексей Яковлевич вовсе не «считал «Кинопанораму» главным делом своей жизни», хотя, в силу характера, отдавал ей громадную часть своей души.

Однако этой души хватало еще и на работу в кинодраматургии, и в мемуарной литературе, и просто в литературе, и в публицистике. Убедиться в этом можно, ознакомившись со вторым томом «Избранных произведений» А. Каплера.

Как справедливо заметил Рязанов, «А. Каплер одним из первых внес на телевизионный экран личностный момент».

В этот «момент» входила и непривычная тогда гражданская смелость, помноженная на вулканическую доброжелательность и веселую мудрость. Да, веселую — словно не было за его спиной ни Лубянки, ни лагерей Инты и Воркуты.

Но они были. И тем обиднее и несправедливей показалось мне все, что касается Алексея Яковлевича в статье А. Бернштейна «Два фильма и 630 метров культа» («Огонек» № 25, 1988 г.).

Посвящена эта статья режиссеру М. И. Ромму, прекрасно поставившему в 37-м и 39-м каплеровские сценарии «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году».

Но вот заголовок «Два фильма и 630 метров культа».

Под «метрами культа» имеются в виду «реплики и эпизоды со Сталиным», которые после XX съезда были, естественно, вырезаны из кинолент Роммом.

Давайте будем последовательны и переведем на метры не только «культ», но и все остальное в фильмах. Это «остальное» составляет «всего»... 6711 метров: «Ленин в Октябре» — 3034, «Ленин в 1918 году» — 3677.

И сразу становится ясно, что, как ни странно для того времени, «сталинские реплики и эпизоды» занимают в картинах ничтожное место — только 630 метров на 6181! А ведь никто бы не удивился и обратному соотношению...

Но, может, «качество» «культа» какое-нибудь особенное?..»

«Однажды на съемках,— пишет Бернштейн,— Михаил Ильич **неожиданно** (подчеркнуто мною.— **Ю. Д.**) почувствовал, насколько нелепо, как это было в **тексте** (подчеркнуто мною.— **Ю. Д.**) заключительной сцены, чтобы Ленин, еще не оправившийся от ранения, «усаживал молодого и здорового Сталина в мягкое кресло, а сам садился на стульчик».

Действительно, нелепо. Только вот почему-то не указано, из какого такого «текста» взята эта закавыченная мизансцена. Из литературного сценария, что ли?

Однако в литературном сценарии, созданном драматургом («Ленин», Госкиноиздат, 1938 г.), в эпизоде с приходом Сталина Ленин вообще лежит в постели, а далее написано черным по белому: «Сталин подвигает стул. Садится возле Ильича».

При создании фильма за сценарием литературным следует режиссерский.

Так из какого же «текста» трансплантировано «мягкое кресло», бросающее тень на плетень?

Думаю, из сборника «Избранные сценарии советского кино» (Госкиноиздат, 1949 г.), открывающегося Ленинианой. Там, в сценарии «Ленин в 1918 году» в сцене со Сталиным действительно присутствуют и «кресло», и «стульчик».

Вот только фамилия сценариста отсутствует. Вместо нее — загадочное: «Записал по фильму М. Ромм».

Загадка объясняется просто: в это время Каплер давно уже «загорал» в лагере (естественно, не туристском...)

«Запись по фильму» (иначе, монтажные листы) представляет собой точное, до миллиметра, воссоздание каждого кадра картины. К сценаристу это вообще не имеет никакого отношения...

Ромму пришлось подписать монтажные листы не только в тридцать девятом, но и в сорок девятом году... Ромму, а не Каплеру...

Еще читаем: «А. Я. Каплер писал в 60-е годы, что «старался подчеркнуть роль Сталина в Октябрьских событиях...»

Здесь кавычки закрываются на полуфразе, чтобы продолжить: «и делал это **искренне**» (подчеркнуто мною.— **Ю. Д.**), так как был «под гипнозом всеобщего поклонения перед Сталиным...»

Бернштейн обрывает цитату на самом важном и принципиальном для драматурга месте: «и мне неприятны речи и писания тех, кто так же, как я, искренне что-то делал в этом направлении, а теперь старается представить себя жертвой, а то даже и борцом с культом личности Сталина».

Далее Бернштейн продолжает где цитировать, где «пересказывать» Алексея Яковлевича:

«И я, и **весь коллектив картины** (подчеркнуто мною.— **Ю. Д.**) не конъюнктурили, не подлаживались к ситуации, а поступали в согласии со своим тогдашним пониманием исторического процесса».

«И все же **трудно поверить** (подчеркнуто мною.— **Ю. Д.**),— утверждает Бернштейн,— в абсолютную слепоту художника. В тех же воспоминаниях мы находим **честное** признание (подчеркнуто мною.— **Ю. Д.**), что репрессирован Эйно Рахья, **верный ленинец** (подчеркнуто мною: выходит, Рахью арестовали с такой формулировкой?— **Ю. Д.**), и его пришлось заменить вымышленным персонажем — товарищем Василием».

Ах, какой бяка этот Каплер! Почему бы ему, в самом деле, не оставить в сценарии репрессированного героя? Ну, почему?

Теперь о «гипнозе всеобщего поклонения». Это что — выдумка Каплера? Мне стыдно даже повторять общие места — о том, например, как с именем Сталина люди шли и на расстрел. Не было, думаю, в истории такого сверхмощного взрыва народного отчаяния, как во время похорон этого врага народа номер один...

«Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе» — разве поэт не выразил чувства миллионов?..

Двое из «террористов», обвиненных в покушении на Сталина,— гиковцы Ю. Дунский и В. Фрид, ставшие впоследствии известными кинодраматургами, оказались в Инте в одном лагере с Алексеем Яковлевичем.

По этому же делу проходила дочь расстрелянного наркома Лена Бубнова. Так вот, как рассказывали ее товарищи по несчастью, девушка твердила, что «зря не сажают», что «просто мы не все знаем»...

Спрашиваю поэта Марка Соболя, отец которого, широко известный в свое время писатель Андрей Соболь, застрелился, не желая жить в постоянном страхе перед репрессиями, а сам он, шестнадцатилетним пацаном, «загремел» на 8 лет: «Ты-то, конечно, там все понял?» А в ответ слышу: «Все равно был уверен, что Сталин непогрешим. Религия есть религия».

Религия ли, массовый ли гипноз, массовый ли психоз... Можно ли отрицать, что сложное это явление существовало и умело поддерживалось, раздувалось, направлялось?

Возьмем хотя бы громкие судебные процессы.

«В фильме «Ленин в 1918 году»,— продолжает Бернштейн,— ощутимо сказалось влияние судебных процессов 30-х годов, ложных обвинений, выдвинутых против многих видных советских и партийных работников, военачальников...»

Еще бы не «сказалось»! Давно ли мы, люди конца 80-х годов, дети гласности, узнали, что и Бухарин, которому, по выражению автора статьи, «больше всего досталось в фильме», и Зиновьев, и Каменев, и Пятаков вовсе не «заговорщики», а сами жертвы беспрецедентного заговора и оговора? Давно ли?.. И не стояли, что ли, у Колонного зала, где вершилась «антигражданская казнь» над лучшими людьми эпохи, разгневанные толпы с плакатами, требовавшими «злодеям» высшей меры? И не появились ли тогда статьи талантливейших наших писателей под кровожадными заголовками типа «К стенке!» или «Пощады нет»? Увы, из песни слова не выкинешь...

Воспользовавшись предлогом, напомню, какие «почести» сопровождали А. Каплера и в сталинские времена, и в последующие. Хотя сразу же должна подчеркнуть, что вовсе не взываю к жалости. Дай бог каждому так прожить свою жизнь!

Драматургическая судьба Алексея Яковлевича (в юности он пробовал свои силы и как актер, и как режиссер) сложилась удачно. Уже первые фильмы «Три товарища» и «Шахтеры» сделали известным имя молодого сценариста. Потому его и пригласили участвовать в очень престижном закрытом конкурсе на лучший сценарий или пьесу об Октябрьской революции. Сценарий Каплера «Восстание», переименованный впоследствии в «Ленин в Октябре» и блестяще поставленный Роммом с непревзойденным, на мой взгляд, до сих пор Борисом Щукиным, фильм имел громадный успех — и зрительский, и официальный. То же самое произошло и с картиной «Ленин в 1918 году».

Когда грянул сорок первый, Каплер не захотел присоединиться к коллегам,

эвакуировавшимся в Алма-Ату. Отдав на Алма-Атинскую студию свой новый сценарий «Котовский» (ставший известным фильмом), он добился, чтобы его забросили военкором в партизанский край.

Потом — в осажденный Сталинград.

Результат — серия очерков в «Правде» и «Красной звезде», очерков, вышедших затем отдельным изданием.

А главное — сценарий «Товарищ П.», ставший одной из лучших картин о войне «Она защищает родину» с незабываемой Верой Марецкой. Фильм вышел в 43-м году, но в его титрах не значилось фамилии А. Каплера. По возвращении с фронта военкор был арестован...

Десять лет (два раза по пять — по окончании первой «пятилетки» ему добавили вторую), провел этот «баловень судьбы» в «стране ГУЛАГ». Только смерть Сталина освободила Алексея Яковлевича — так сложилось, что «кремлевский горец» лично следил за его судьбой...

И было ему отпущено еще четверть века, прожил он эти годы таким же не сломленным и активно добрым, как и до «больших почестей». А работал как одержимый — не только творчески. Был одним из организаторов Союза кинематографистов СССР, вице-президентом Международной гильдии сценаристов, бессменным руководителем сценарного цеха, горячим защитником сценаристов.

Любил молодежь. Преподавая во ВГИКе и на Высших сценарных курсах, заступался за тех студентов, чья самобытность вменялась им же в вину.

За многих сражался А. Каплер и острым пером публициста, и острым словом в «Кинопанораме». Амплитуда его рыцарства была велика.

Так, он вступился за память расстрелянной в 30-х годах молодой писательницы Раисы Васильевой. Дело в том, что и после реабилитации в титрах знаменитого фильма «Подруги», снятого по ее сценарию, фамилия Васильевой не значилась... Не значится и теперь.

Вступился он и за честь молодой звезды немого кино Веры Холодной, испачканной обывательской грязью в романе Героя Социалистического Труда Ю. Смолича.

И за честь юной дочери сочинского начальника милиции, полюбившей простого шофера. Сановитые папа и мама засадили строптивую «Джульетту» в психиатричку, а «Ромео» — в тюрьму... Несмотря на угрозы печально теперь известного Медунова, Каплер опубликовал в «Литгазете» прогремевший тогда фельетон «Сапогом в душу». На него... завели уголовное дело. Сам Хрущев, которому поднатаревшие в клевете «медуновцы» донесли, что «ЛГ» якобы защищает какого-то «сифилитика», топал ногами...

(Алексей Яковлевич никогда не видел Никиту Сергеевича, поскольку не был зван на встречи с творческой интеллигенцией. Но считал высоким гражданским подвигом его речь на XX съезде, подвигом, за который прощал все то, что впоследствии окрестили «волюнтаризмом».)

В статье «Холодные глаза» Каплер вступился за двух беззащитных стариков, выброшенных из родного, полуразрушенного войной дома, которые вырыли рядом землянку и стали там жить. Старикам был возвращен отнятый у них беззаконно домишко.

А наталкивался на все эти сюжеты Алексей Яковлевич вроде бы и случайно. Но так ли уж «случайно»?

Ведь скольким, к примеру, рассказывала я об истории, происшедшей с героиней Великой Отечественной Екатериной Новиковой.

В мирное время у нее, на глазах сошедшей с электрички равнодушной дачной толпы, какой-то подонок пытался вырвать сумочку. Несмотря на жестокие удары по голове, «гвардии Катюша» сопротивлялась отчаянно, потому как в сумочке лежал партбилет.

Рассказывала я об этом многим. Все ахали, возмущались, сочувствовали. Все. Но только один Алексей Яковлевич снова, как в сочинском ЧП, вступил в единоборство с милицией, и виновные были наказаны.

Так родился «Случай в дачном поселке», тоже взбудораживший читателей застойных семидесятых.

Застойные-то они застойные, но и тогда не все молчали...

А на «Кинопанораме» Каплеру становилось все труднее и труднее. И так как передача уже не шла прямо в эфир, а записывалась заранее, бдительное начальство при помощи ножниц выхватывало из нее наиболее живые и острые куски. Да и много происходило такого, что Алексей Яковлевич считал просто преступлением...

В 72-м году Каплер вручил руководству письмо. Заканчивалось оно так: «Относиться безразлично ко всему тому, о чем я написал, да еще к тому, о чем я не писал, я не умею. А продолжать в том же духе отказываюсь».

Попрощаться со зрителями Алексею Яковлевичу не дали, поэтому его неожиданное исчезновение с экрана вызвало всевозможные слухи. Как шутил он сам, самый из них благоприятный — скоропостижная кончина. А так: то ли «сел» за валютные операции, то ли «рванул» в Израиль...

Официально же вокруг имени человека, посмевшего хлопнуть дверью перед носом самого председателя ТВ и радио, образовался заговор молчания. Оно перестало упоминаться в прессе и эфире. Доходило до смешного: «вырезали» из телехроники каждого, кто имел несчастье попасть в кадр вместе с этой «персоной нон грата»... Конечно, это делал не сам председатель, а его «бдящие» подчиненные.

Умирал Алексей Яковлевич, как жил,— трудно и мужественно. Лежа под капельницей, работал над версткой сборника рассказов «Возвращение броненосца». Вышедшую чуть позже книгу воспоминаний и публицистики «Загадка королевы экрана» он уже не увидел...

Когда А. Каплер «исчез из кадра» навсегда, только в «Вечерней Москве» появилось объявление в черной рамке, да и то время гражданской панихиды было указано там неверно...

Михаил Ильич Ромм прожил прекрасную жизнь, но не следует делать из него мученика, не стоит в угоду моде насильно напяливать терновый венец.

И слава богу, что этого художника не постигла судьба многих его коллег...

Хорошо, что Ромма справедливо награждали орденами и высокими званиями, что его картинам присуждены Государственные премии. (И виноват ли Михаил Ильич в том, что большинство — Сталинские?..)

После смерти Михаила Ильича Каплер написал «Слово о Ромме».

Самое главное, самое заветное там — такие слова: «Когда умирает большой художник, вдруг ощущаешь все, связанное с ним, по какому-то очень крупному счету. Уходит много такого, что когда-то казалось важным, и какие-то несогласия, и прямые обиды — все исчезает. Остается благодарная память о замечательной личности...»

Хорошо бы, конечно, показать теперь на телеэкране хоть одну каплеровскую «Кинопанораму», хоть кусочек из нее. Тем более что его собеседниками были Шукшин и Дзаваттини, Кармен и Вивьен Ли, Шкловский и Ле Шануа, Козинцев, генерал Родимцев... Он старался «затащить» на телеэкран каждого интересного человека — необязательно из мира кино.

Но на телевидении, как меня уверяют, не осталось ни одного сантиметра «каплеровской» пленки.

Так умеют у нас умерщвлять людей во второй раз...



ТЕНЬ

20 СЕНТЯБРЯ 1988 ГОДА В МОСКВЕ ПРОИЗОШЛО ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ. НАРОДНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА РАССМОТРЕЛ ИСК О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА. ИСТЕЦ — СТАЛИНЩИНА, ОТВЕТЧИК — ГЛАСНОСТЬ.

Александр МИНКИН
Игорь ГАВРИЛОВ (фото)

Нормально все звучало куда скромнее. Оскорбленным истцом был никому не ведомый И. Шеховцов, ответчиками — газета «Советская культура» и писатель А. Адамович. Никогда бывший прокурор, а теперь пропагандист, Шеховцов не привлек бы такого внимания, защищай он лишь себя, свою честь и достоинство.

«Я семнадцать раз подавал иск о защите чести и достоинства Иосифа Виссарионовича,— говорит Шеховцов судьям,— и всюду отказывались рассмотреть». Отчаявшись вступиться за оскорбленного Иосифа Виссарионовича, Шеховцов оскорбился сам. И вот — суд.

Повод — заметка Алеся Адамовича в «Советской культуре», где писатель нелестно отозвался о защитнике палача Хвата — некоем «харьковском военном прокуроре», рассылавшем письма, где вступался за следователя, который допрашивал академика Вавилова.

В этом анонимном прокуроре Шеховцов узнал себя.

Что же его оскорбило? Защитник Хвата объяснил: «Нигде не доказано, что следователь Хват пытал Вавилова. Никакой суд это не установил. Значит, никто не имеет права называть его палачом. И меня, когда я защищаю честь и достоинство Хвата, никто не имеет права называть защитником палача. Это оскорбление моей чести и достоинства».

Видите, как много было на этом суде оскорбленных «честей и достоинств».

— А Вавилов? — спросили Шеховцова.

— Вавилов сам признался во вредительстве. О чем тут говорить? А Лысенко победил в открытой дискуссии.

Зал загудел. Судья восстановила тишину.

Как завороженные глядели все на Шеховцова. Возникла тень Вышинского. Он потребовал себе отдельный столик, разложил бумаги, поблескивал очками, был спокоен и вовсе не выглядел оскорбленным. Наконец-то у него была аудитория! Он обличал:

— В настоящий момент происходит разжигание антисталинской истерии и других негативных явлений нашего общества... Василь Быков оклеветал Иосифа Виссарионовича... Писатели-клеветники хуже Би-би-си и «Голоса Америки» порочат личность Сталина, приписывая ему грехи, сочиняя очернительские материалы о человеке, 30 лет бывшем главой нации... «Советская культура», «Московские новости», «Известия» и другие органы печати организовали ниспровергательскую кампанию против Сталина, допускают оскорбительные экскурсы в историю... Я дышу воздухом 1930-х, живу энтузиазмом 30-х *, а меня не печатают, как инакомыслящего... Может быть, я стану фигурой № 2 после Нины Андреевой... Отменяют нашу историю... Кампания по дискредитации Сталина пустила глубокие корни... Я 30 лет стоял на переднем крае, я 30 лет выкорчевывал всех врагов социализма... Раскольников — троцкист, предатель Родины, недаром он до сих пор не реабилитирован... Я требую графологической экспертизы резолюций «бить! бить!», приписываемых Иосифу Виссарионовичу... В один ряд со мной и оклеветанным Хватом поставлены Сталин и его сподвижники — члены Политбюро, коммунисты Молотов, Каганович и другие... Я сторонник истинной перестройки — надо беспощадно выкорчевывать разные мнения, надо прекратить порочить светлую память Павлика Морозова,

* И. Т. Шеховцов 1926 года рождения.

надо назвать всех невозвращенцев предателями, надо опровергать все документы, которыми пытаются опорочить доброе имя гениального вождя... Исхожу из XIX партконференции: закон должен оберегать достоинство личности...

«Продукт эпохи»,— сказал кто-то рядом со мной. «Нет,— подумал я,— Шеховцов и Адамович — ровесники. Эпоха — одна, продукты — разные».

Тщетно судья пыталась остановить поток печально памятных терминов и формулировок. Тщетно призывала «говорить по существу».

— Я не чувствую себя оскорбленным. Горжусь защитой Иосифа Виссарионовича — люблю его за титаническую гениальную деятельность, подтвержденную Анри Барбюсом, Роменом Ролланом. Я 20 лет пропагандист — глубоко изучил труды Ленина — Сталина...

Ах, как давно я не слышал столь слитного произнесения этих имен. Пожалуй, с тех пор, как вступал в пионеры: «К борьбе за дело Ленина — Сталина будь готов!» — «Всегда готов!»

Всю жизнь Шеховцов прожил, судя по всему, «всегда готовым» к борьбе с врагами, всю жизнь «беспощадно искоренял». И в беспощадности этой был отнюдь не одинок. А чего добился? К чему беспощадные «винтики» привели страну? Или они думают, что алкоголизм, коррупцию, наркоманию к нам забросили враги? Что проститутки приземляются на улице Горького, прыгнув с парашютом из американского самолета?

Среди публики то и дело слышался шепот: «Что он говорит! Это же сумасшедший!» Нет, он не болен.

Он спокоен, внимателен, въедлив. Он не упускал ни малейшей оговорки, ни малейшего промаха. Он не кричал, не кипятился, даже не повышал голоса. Но когда его слова вызывали возмущение публики, на лице его заметно было удовлетворение: похоже, ему нравилось шокировать, вызывать растерянность. Он пугал и ответчиков, и свидетелей, и суд, что скоро придет время, когда им придется поплатиться за свои слова. Чувствовалось, что он хотел вызвать в нас страх.

Свидетель Ю. Карякин. Истец — интеллектуальная и моральная жертва сталинизма...

Истец (перебивая). Прошу суд оградить меня от оскорблений. (Смех в зале.)

Напрасно смеялись, думая, что Шеховцов возмутился от обиды. Напрасно Юрий Карякин стал объяснять, что он имел в виду. Истец не может позволить считать себя жертвой. Ибо жертва вызывает жалость. А он, судя по всему, из другой породы.

Он тут же стал запугивать Ю. Карякина грядущей ответственностью за «введение в обиход термина «сталинизм», ибо кощунственно образовывать из «Сталина» термин по принципу слова «фашизм» — с тем же суффиксом!»

Тут он, конечно, увлекся. Забыл в судебной полемике, что «изм» не такой уж крамольный суффикс. Но мето́да Шеховцова, надеюсь, ясна. На суде он показывал порой и не такие чудеса казуистики!

И чуть что: я — за истинную перестройку! Я действую в духе XIX партконференции.

Не в этом ли «духе» (в понятиях Шеховцова) написано его заявление прокурору Москвы? В нем «инвалид Великой Отечественной войны» (иногда он подписывается «наводчик орудия») Шеховцов И. Т. доводит до сведения:

«В журнале «Огонек» опубликована статья доктора исторических наук В. Поликарпова о Ф. Раскольникове, в которой полуторамиллионным тиражом были распространены заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, глубоко оскорбляющие патриотические чувства советских людей, в циничной форме опливывающие все, что ими было завоевано потом и кровью и является нашим национальным достоянием.

Выражая в своих комментариях солидарность с Раскольниковым*, В. Поликарпов приводит выдержки из открытого письма Раскольникова Сталину, в котором под видом культа личности Сталина с целью дискредитации советского государственного и общественного строя приводятся сознательно искаженные и препарированные факты нашей истории.

Рассуждения о «постыдном советском режиме», о советском «рае» — это главные «доказательства» всех наших врагов, которые и сегодня клевещут на наш государственный и общественный строй. К этим заведомо ложным измышлениям Раскольникова присоединились в своей статье доктор исторических наук Поликарпов и журнал «Огонек», опубликовавший его статью .

И наконец заявление Поликарпова о том, что Раскольников не мирился *«с произволом и отступничеством от ленинских норм общественной жизни, возведенными в ранг правительственной политики»* (выделено мною.— И. Ш.),— это ли не заведомо ложное измышление, порочащее советский государственный и общественный строй. Здесь солидарность не только с высказываниями Раскольникова, но и с современными «голосами», неустающими повторять эти измышления.

Опасность этих измышлений для нашего общества многократно увеличилась оттого, что они были распространены именно общественно-политическим журналом, издаваемым тиражом в полтора миллиона экземпляров,— журналом, на который в своей пропаганде уже ссылаются упомянутые «голоса».

Совершению рассматриваемого преступления способствовало неудовлетворительное состояние нашей исторической науки, которая трудные страницы истории нашего Отечества отдала литераторам, делающим себе имя на «антисталинской истерии», и примкнувшим к ним некоторым нашим историкам.

Для меня, советского гражданина, защищавшего на фронте те идеалы, которые сейчас оплевываются, для историка, юриста и пропагандиста, длительное время занимающегося изучением нашей отечественной истории, далеко не безразлична ситуация, когда от критики наших недостатков перешли к злобным измышлениям, порочащим наш советский государственный и общественный строй. Пришло время, когда свое слово должен сказать Уголовный кодекс.

Исходя из изложенного, прошу:

1) возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190[1] УК РСФСР,

2) привлечь к уголовной ответственности доктора исторических наук В. Поликарпова и ответственных работников журнала «Огонек», причастных к публикации его статьи».

Простите обильное цитирование, но это небольшая часть многостраничного заявления. Полный текст свидетель В. Поликарпов попросил приобщить к делу.

В конце своего обвинения Шеховцов проявил нечто вроде гуманизма в отношении будущих подсудимых: «Исходя из того, что сам факт такого судебного процесса будет способствовать глубокому осознанию опасности совершенного ими преступления и исключит возможность его повторения в будущем, считал бы возможным назначение подсудимым условной меры наказания».

Не будем придираться к юристу в отставке, что Хват у него невиновен, ибо

* Ф. Раскольников реабилитирован Верховным Судом СССР 10 июля 1963 г. Но Шеховцов в своих доказательствах опирается на постановления и газетные публикации 1936—1939 гг. и в этом смысле действительно дышит «энтузиазмом 30-х».



Истец...







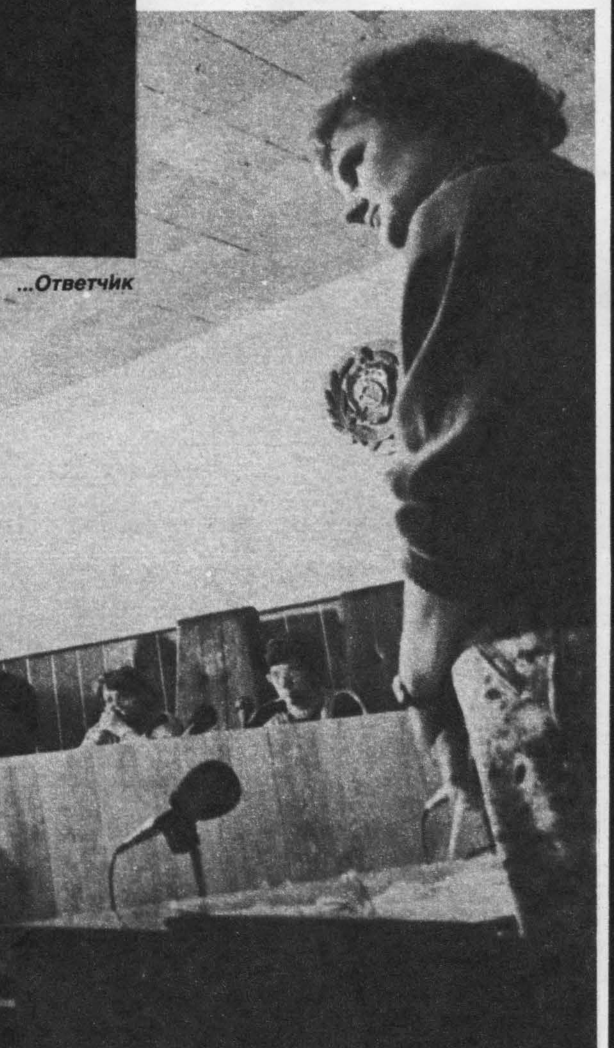
не осужден, а Поликарпов и «Огонек» «совершили преступление», и остается только отмерить срок.

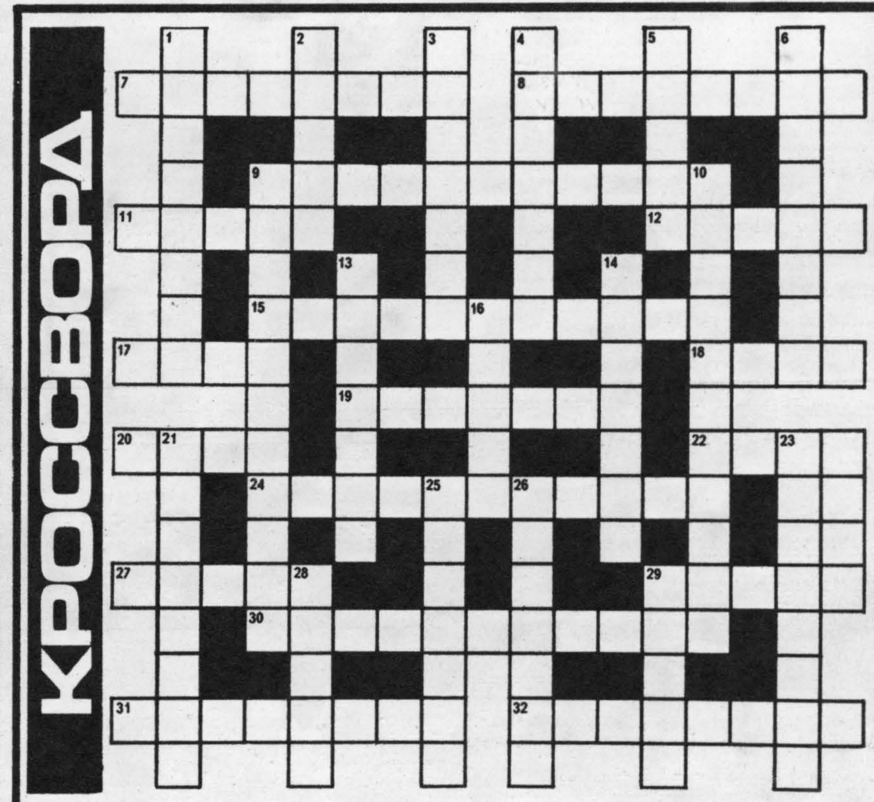
Истец чувствовал себя победителем. Оторопь брала. Недаром ответчик — Алесь Адамович процитировал Альберта Эйнштейна, сказавшего однажды, что на самом деле в Библии было не десять, а одиннадцать заповедей — после всем известных «не убий», «не укради» шла самая важная — «не бойся».

...На вопрос, почему он не подал в суд и на Генерального секретаря ЦК КПСС, назвавшего преступления Сталина огромными и непростительными, Шеховцов ничего не ответил.

Суд постановил: в иске Шеховцову отказать.

...Ответчик





ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Болгарский народный танец. 8. Ввод пучка заряженных частиц в ускоритель. 9. Город в Ивановской области. 11. Руководитель факультета в вузе. 12. Приток Иртыша. 15. Устройство на самолете для автоматического определения направления. 17. Скошенная для корма трава, фураж. 18. Вулкан на Курильских островах. 19. Прибор для измерений реактивной электрической мощности. 20. Чилийский певец, исполнитель революционных песен. 22. Тонко скрученная пряжа. 24. Вид многоголосия в музыке. 27. Нотный знак. 29. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 30. Раздел астрономии. 31. Стихотворение Н. А. Некрасова. 32. Жанр журналистики, оперативная информация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мнение, заключение. 2. Латвийский дирижер, народный артист СССР. 3. Государство в Северной Африке. 4. Сильный сухой ветер в Средиземноморье. 5. Слова к музыкальному сочинению. 6. Минерал, руда тантала. 9. Бесцветные кристаллы, вещество для получения пластмасс, волокон. 10. Город на северо-востоке Алжира. 13. Советский грузинский писатель. 14. Народная артистка СССР, выступающая в Саратовском ТЮЗе. 16. Лососевая рыба. 21. Система физических упражнений. 23. Предприятие связи. 25. Льняная, хлопчатобумажная ткань редкого переплетения. 26. Овальная дощечка, пластинка для смешивания красок в живописи. 28. Стальной брус, укрепляемый на железнодорожных шпалах. 29. Отросток нервной клетки.

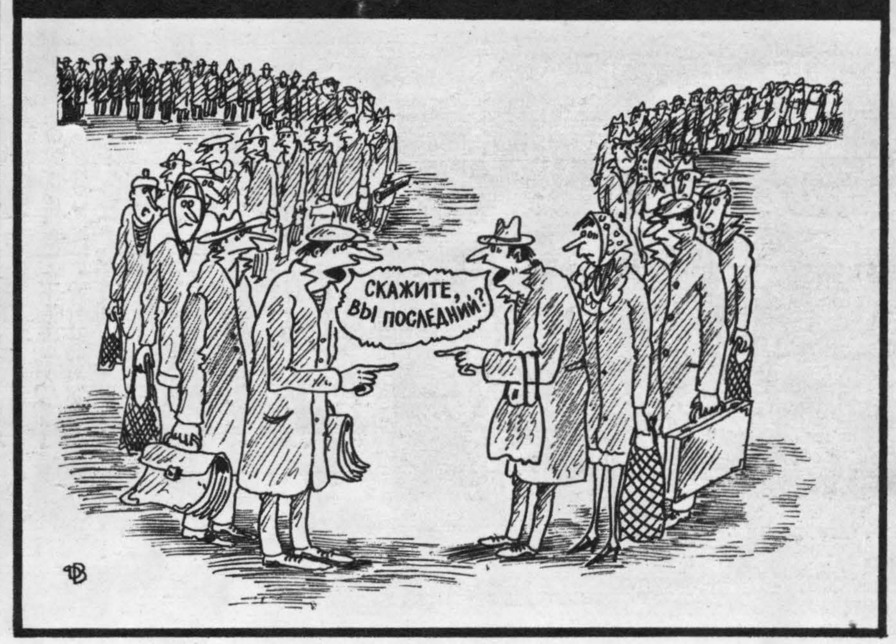
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 40

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Архип. 7. Марецкая. 8. Плавание. 9. Учительская. 10. Элюар. 13. Самбо. 14. Анималист. 15. Ремез. 16. Устав. 17. Преподаватель. 20. Секач. 23. Тягач. 24. Известняк. 25. Франк. 27. Аксай. 29. Перекладина. 30. Бурундук. 31. Латынина. 32. «Арион».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адаптация. 2. Полосатик. 3. Пантелеев. 4. Цезура. 5. Халява. 6. Циферблат. 11. Разведчик. 12. Шахматист. 13. Студентка. 18. Терренкур. 19. Казанкина. 21. Гваделупа. 22. Енанджаун. 26. Нептун. 28. Кладно.



Рисунок Василия ДУБОВА.







ОГОНЁК

«ЗМЕЙ» ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ...

Большущий розовокрылый воздушный змей приглашает на необычно радостную выставку в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. Погружаясь в сказочно-прекрасный мир китайской игрушки, мы становимся как бы участниками шумных празднеств, театральных спектаклей, ярмарок, которые справляют игрушки. И становится более близкой и понятной жизнь нашего соседа — великого китайского народа.

В каждой игрушке свой смысл, своя мифология, сказка, предание, легенда или обычай. Старинный праздник середины осени — венец сбора урожая. Китайцы собираются семьями, едят лепешки и наблюдают причудливые пятна на ночном светиле, стараясь разглядеть очертания Лунного зайца, который, как исстари принято считать, толчет порошок бессмертия...

Представлена на выставке и детская одежда с символическими рисунками. Издавна повелось украшать ее символами, способными уберечь ребенка от несчастий. На жилете красуется иероглиф шоу, означающий долголетие. Спина же, как наиболее уязвимое место, защищена аппликациями змей, ящериц, пауков. На носках башмачков вышиты тигры, а на подошвах — львы, охраняющие, по поверью, от злых сил.

Игрушки китайских умельцев собрала и предоставила для знакомства с культурой Китая научный сотрудник музея Ирина Владиславовна Захарова, а оформил эту замечательную выставку художник Владимир Алексеевич Кудрявцев.

Зоя КРЯКВИНА

Фото Михаила САВИНА











ISSN 0131—0097
Цена номера 40 коп.
Индекс 70663